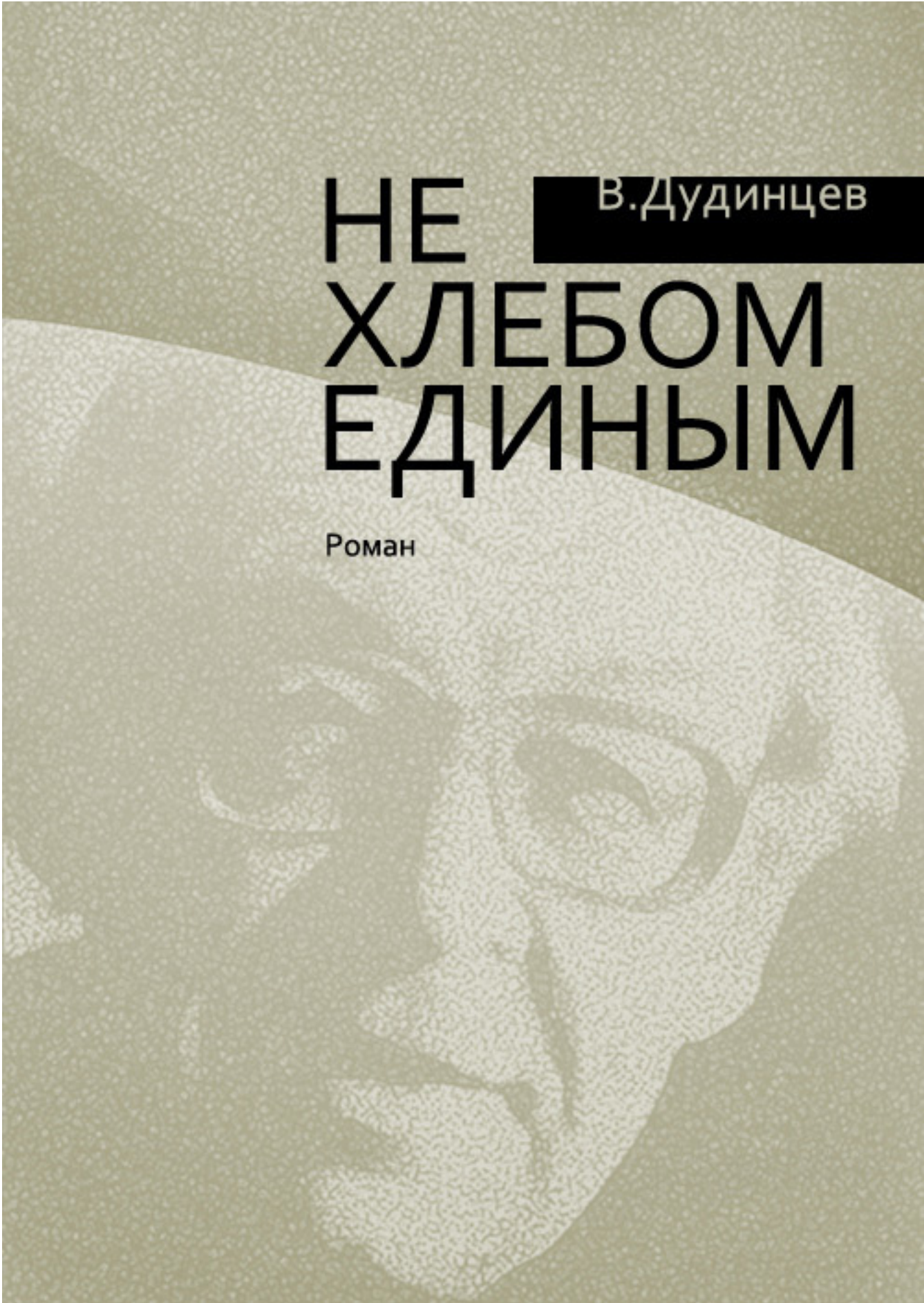




В.Дудинцев

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Роман

Владимир Дмитриевич Дудинцев

Не хлебом единым

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136194
Не хлебом единым / Владимир Дудинцев: Ардис; Москва;*

Аннотация

Роман «Не хлебом единым», впервые опубликованный в 1956 году в журнале «Новый мир», принёс Владимиру Дудинцеву шумную известность, вызвал многочисленные отклики и острые дискуссии. Однако вскоре книга была подвергнута резкой критике. Автора обвинили в очернении и искажении действительности, в преувеличении опасности бюрократизма.

В центре повествования драматическая судьба провинциального инженера Дмитрия Лопаткина – талантливого, честного и мужественного человека, героя-одиночки, который пытается отстоять своё изобретение в борьбе с чиновниками и бюрократами, карьеристами и недоброжелателями, клеветниками и доносчиками.

Содержание

Часть первая	4
1	4
2	12
3	19
4	24
5	31
6	37
7	44
8	52
9	58
10	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Владимир Дудинцев

Не хлебом единым

Часть первая

1

В двенадцать часов дня к станции Музга, до самой вывески скрытой высокими снежными гребнями, наметенными по обе стороны полотна, подошел поезд. Проплыли белые крыши вагонов и остановились. На платформе началась сутолока, три человека в валенках, в одинаковых полушубках телесного цвета торопливо прошагали в хвост поезда, к последнему – московскому – спальному вагону. Поднялись в вагон, опять показались, подали вниз один чемодан в сером чехле, второй... И вдруг, словно ветер любопытства дунул по платформе, метнулся легкий шумок, и все побежало в одну сторону, тесной толпой сбилось около московского пульмана.

– Кто приехал?

– Дроздов. Сейчас будет выходить...

– Вышел уж!..

Увидеть приезжего почти никому не удалось, потому что тот, кого называли Дроздовым, был очень мал ростом. Зато все увидели мягкую меховую шапочку и лицо его спутницы – сероглазой красавицы, которая была на голову выше Дроздова.

Толпа переместилась к зданию станции, неудовлетворенно разошлась, и только те, кто успел обежать кирпичное здание, увидели, как понеслись с визгом полозьев две тройки – вдаль, к белому, снежному краю степи, из-за которого поднимались черные дымы, поднимались и сваливались на сторону, завесив полнеба грязно-серой пеленой. Там, за далекой снежной линией, как за морским горизонтом, словно бы шла эскадра. Это дымил построенный здесь в годы войны гигантский промышленный комбинат, который со своими корпусами, цехами, складами и железнодорожными ветками растянулся на несколько километров. В те первые послевоенные годы комбинат этот не значился на картах.

Директор комбината Леонид Иванович Дроздов, или просто Дроздов, как его называли в этих местах, по вызову министра ездил в Москву. Он взял с собой в эту поездку и молодую жену, от которой со дня женитьбы не отходил ни на шаг. Теперь они возвращались домой. Оба были довольны: жена – сделанными в Москве покупками, а Леонид Иванович – успешным ходом всех своих дел. Знакомый начальник главка дал Дроздову понять, что ему следует ожидать скорого переезда в Москву, а это была давняя мечта Леонида Ивановича.

Два директора, которых Дроздов хорошо знал, придерживались на этот счет иной точки зрения. Они считали, что лучше быть осью на заводе, чем спицей в колесе, хоть и столичном. Леонид Иванович не задумывался над тем, что материальная обеспеченность его на должности начальника управления будет немного меньше. Он шел на уменьшение зарплаты, это уже было продумано. Ограничения свободы также его не смущали. «Я везде буду самим собой», думал он. Трудности большой руководящей работы не пугали, а, наоборот, манили его. На этот счет у него была даже теория. Он считал, что нужно всегда испытывать трудности роста, тянуться вверх и немножко не соответствовать. Должность должна быть всегда чуть-чуть не по силам. В таком положении, когда приходится тянуться, человек быстро растет. Как только ты начинаешь справляться с работой и тебя похвалили разок-другой, передвигайся выше, в область новых трудностей, и опять тянись, старайся и здесь быть не последним.

«Ну что ж, построил комбинат, – слегка прикрыв глаза, думал он под свист полозьев. – Неплохо поработали в войну, получили знамена, ордена... И сейчас от уровня передовых не отстаем. Если мне сейчас пятьдесят два... Три, четыре, пять... Лет тринадцать – это еще приличный резерв! Прили-ичный!.. Черта с рогами можно сделать за это время!»

Комбинат, похожий на большой город, постепенно вырастая, надвигался на него, охватывая степь с правого и левого флангов. Пять высоких кирпичных труб стояли в центре – стояли в ряд, все одинаковой высоты, и все пять черно дымили. Под ними внизу было видно множество мелких дымов – серых, красноватых и ядовито-желтых. В стороне чернели башни – градирни, и от них поднимались крутые облака пара, сияющие среди черных дымов особенно чистой белизной. Уже были слышны свистки комбинатских паровозиков-кукушек и по обеим сторонам дороги потянулись одинаковые двухквартирные домики из белого кирпича, с острыми шиферными крышами – домики соцгорода, когда Леонид Иванович, очнувшись от своих мыслей, привстал и ткнул пальцем в полушубок кучера.

– Пройдемся пешочком, Надюша! А? Гляди-ка, погодка!

Сани остановились. Жена Дроздова, подобрав мягкие полы манти, купленного шесть дней назад в Москве, сошла на чистый, неглубокий и очень яркий снежок.

– Чудо какой снег! – послышался ее счастливый, молодой голос.

Леонид Иванович немного замешкался. Прорвав дыру в большом картонном коробе, он доставал оттуда ярко-оранжевые крупные апельсины и рассовывал по карманам. Потом махнул кучеру и, грубо срывая корку с апельсина, заспешил к жене. Та спокойно приняла очищенный и слегка разделенный на дольки плод, и они пошли, наслаждаясь солнечным зимним днем. Дроздов маленький, в кожаном глянцевого пальто шоколадного цвета, с воротником из мраморного каракуля и в такой же мраморно-сизой ушанке. Жена – высокая, с постоянной грустью в серых глазах, без румянца, но с ярко-розовыми губами и с большой бархатной родинкой на щеке. Она была в шапочке и в манти из нежно-каштанового шелковистого меха, в широкоплечем дорогом манти, которое сидело на ней немного боком. Она все время отставала, и Леонид Иванович поджидал ее, держа каждый раз в руке новый очищенный апельсин.

Надя была беременна. Дроздов, шагая впереди, щурился, морщил сухой, желтый лоб, чтобы скрыть радостную улыбку. Люди здоровались с ними, отступали в сугроб, смотрели в упор – навстречу и вслед. Леонид Иванович останавливался на каждом взгляд черных, усталых и счастливых глаз. Он знал, о чем могли говорить эти люди там, сзади, выйдя из сугроба на дорогу: «Жену-то одну бросил – старая стала. Теперь девчонку молодую заимел совсем рехнулся!» – «Ну и рехнулся! – подумал он. – Неужели надо кривить душой и жить с женой, которую никогда не любил, и избегать встреч с той, которую любишь? Не проще ли сделать вот так?» – Он оглянулся на жену, и она улыбнулась ему из-под шапочки. "Тем более, что Шурка наша говорит: «Леониду Ивановичу на роду написано две жены иметь. У него – две макушки». Он засмеялся, вспомнив это, и опять оглянулся на жену. «Молода!» – с радостью подумал он. Взгляды людей его не стесняли. Не чувствовал он неловкости и от того, что ростом он ей был до плеча. Правда, Надя, если шла рядом с ним, слегка сутулилась, чтобы казаться пониже, это у нее уже стало входить в привычку...

Так они шли, то сходясь, то расходясь, занимая всю улицу, кивая и раскланиваясь со знакомыми. Иногда попадались навстречу школьники с сумками и портфелями. Те, кто постарше, отойдя в сторонку, тянули наперебой: «Здравствуйте, Надежда Сергеевна!» – Надя преподавала в школе географию. Пропустив Дроздовых и выждав еще с минуту, ребята бросались на дорогу, на оранжевые корки, затоптанные в снег. С веселыми и удивленными криками они хватали и прятали яркое, пахучее чудо – таких корок еще никто не видывал в этом степном и недавно еще совсем глухом районе.

Дроздовы жили на соседнем, широком проспекте Сталина. Дома здесь были тоже двух-квартирные, но с более затейливыми, железными крышами и с большим числом окон. В этих домах жил, как говорили в Музге, командный состав комбината. Дом Дроздова не отличался ничем от своих соседей, кроме того, что он весь был занят одним хозяином и обе его квартиры были соединены в одну.

Пропустив жену вперед, Леонид Иванович вошел в сени, затопал, закашлял. Домашняя работница – рослая деревенская девушка Шура – выглянула в дверь и тут же распахнула ее.

– Батюшки, новая шуба! Здравствуйте, Леонид Иванович! Надежда Сергеевна, с вас причитается за обнову! Чего это за мех, да какой мягкий!

– Этот мех заморский, – прищунив глаза, с важностью сказал Леонид Иванович, помогая жене снимать мanto. Надя, стоя перед ним, по привычке слегка согнулась. – Мех заморский, норка называется.

Шура при этих словах с готовностью прыснула.

– Ладно смеяться. На-ка, повесь... в шифоньер.

Надя, выбирая из волос заколки и покачиваясь, пошла к себе в комнату. А Леонид Иванович без пальто, в черном костюме – худенький, с торчащими, желтоватыми ушами, напевая что-то непонятное и потирая руки, направился через весь дом, по длинному коридору, на кухню.

– Мама! – раздался его резковатый, веселый голос. – Не видишь, мы приехали!

– Вижу, вижу! – ответил ему из кухни мужской голос матери. – Что-то ты вроде раньше сроку?

– Мать! – Леонид Иванович остановился в дверях и окинул чуть насмешливым взглядом связки лука, развешанные на стенах, русскую печь, рядом с ней газовую плитку, работающую от баллона со сжатым газом, и у порога полузакрытый тряпкой, низенький ушат со сметаной. – Мать, – он закрыл глаза и, постояв так несколько мгновений, медленно открыл их, что было признаком сдержанного раздражения. – Ты куда дела моего Глазкова?

– За сметаной посылала, к Слободчикову. Для Нади посвежей надо. А сейчас отдыхает. Двое суток все-таки человек проездил.

– Дело хорошее, – Леонид Иванович опять окинул глазами кухню и задержал взгляд на ушате со сметаной. Он надолго закрыл глаза и, медленно открывая их, сказал резким, мальчишеским голосом: – А все-таки машину без моего разрешения ты не вызывай. Придется дать распоряжение в гараж...

– Ну-ну, – сказала старуха, не оборачиваясь к нему. – Давай... распоряжайся... Командавай...

Леонид Иванович вернулся в коридор, подошел к телефону.

– Мне диспетчера... Разъедините... – Он сонно засопел в трубку, это была еще одна его привычка. – Александр Алексеевич?... Это? Хм, это Дроздов. Да... Спасибо. Как там дела? Н-да. Четвертый аппарат наладили?... А печи? – Голос Леонида Ивановича угрожающе померк. – Что свистит? Что свистит? Как же это, товарищи дорогие, если бы я не десять, а двадцать дней отсутствовал, аппарат бы у вас свистел двадцать дней? Не через четыре дня, а послезавтра пойдет... Ну, ладно, не будем спорить... Да, я сейчас приду...

– Черт, – сказал Леонид Иванович, вешая трубку.

Впрочем, он тут же успокоился и велел Шуре отвечать на все телефонные звонки, что его нет дома.

– Кормить-то будете? – закричал он в сторону кухни.

Часа через три он вышел из дому, неся большую кожаную папку. За воротами его ждал «газик» защитного цвета. Леонид Иванович сел рядом с молоденьким шофером Глазковым и нахмурился, сразу стал совсем другим. Машина сделала несколько поворотов между домами и остановилась перед подъездом двухэтажного здания с большими квадратными окнами. Так

же хмурясь, Леонид Иванович поднялся по ступеням, толкнул зеркальную дверь и зашаркал на лестнице и по коридору, на ходу кивая встречным. Все знали о приезде начальника, и несколько человек уже сидели в приемной. Леонид Иванович прошел к себе, в просторный, высокий кабинет с большим рыжеватым ковром, пересеченным по диагонали зеленой дорожкой. Вслед за ним вошла слегка подкрашенная секретарша в узкой юбке и белой прозрачной кофточке.

– Кто это там? – спросил Леонид Иванович, причесывая височки и ощупав большую, раздвоенную плешь. У него действительно были две макушки счастливая примета!

– Это изобретатель. Насчет труб.

– Да, да. Я помню. Пусть ждет. Ганичев с Самсоновым пусть войдут.

Секретарша удалилась, а Леонид Иванович обошел свой громадный стол, на котором поблескивал отлитый из черного каспийского чугуна чернильный прибор, составленный из знаков гетманской власти. Тут стояли две булавы, массивная печать, возвышался бунчук и были разложены еще какие-то многозначительные и тяжелые вещи. Дроздов сел и, уйдя головой в плечи, соединив обе руки в один большой бледный кулак, выжидаяще опустил его на зеленое сукно. Тут же, вспомнив что-то, он мгновенно переменял позу, снял трубку и, передвинув рычаги на черном аппарате, похожем на большую пишущую машинку, сонным голосом заговорил с цехом, где был плохо работающий четвертый аппарат. В эту-то минуту и вошли Ганичев – главный инженер комбината и Самсонов – секретарь партийного бюро. Ганичев был очень высок, толст, гладко выбрит и носил поверх синего костюма куртку-спецовку из тонкого коричневого брезента. Самсонов был такого же роста, как директор комбината, носил старенький офицерский костюм без погон и сапоги. Оба сели перед директорским столом.

– Ну-с, – сказал Леонид Иванович. – Здравствуйте, товарищи. Что нового скажете?

– Новенькое, к сожалению, всегда найдется, – проговорил Самсонов.

Ганичев непонимающе посмотрел на него.

– А я привез вот какую новость, – Леонид Иванович раскрыл папку и показал листок ватмана, разграфленный вдоль и поперек и заполненный столбиками цифр. – По этому графику теперь будем отчитываться. Вот я сейчас для всех повешу его на видном месте. – Дроздов взял из гетманской шапки несколько кнопок, нахмурился и, солидно поскрипывая ботинками, прошел к желтой доске у стены. – Повешу вот... – он поднялся на носках. Чтоб все видели...

– Позвольте, Леонид Иванович, – громадный Ганичев поспешил к нему. Позвольте, я. Я, так сказать, малость повыше.

– Наполеон в этом случае сказал бы так, – Самсонов откинулся назад. Ты, Ганичев, не выше, а длиннее.

Он громко засмеялся. Ганичев словно бы и не слышал, а Леонид Иванович повернулся к Самсонову, закрыл глаза и затем медленно открыл их. Это должно было означать сдержанный гнев, но Самсонов сразу увидел веселые огоньки в черных глазах Леонида Ивановича. Директору понравилась острота.

– Товарищ Самсонов, – он поднял голову и строго свел брови, смеясь одними глазами. – Товарищ Самсонов, исторические параллели рискованны. Осторожнее!..

Через час Ганичев ушел. Леонид Иванович, уютно сидя за столом, опять соединил все десять пальцев в один большой кулак и, подняв бровь, посмотрел на Самсонова.

– Как, как ты сказал про Наполеона-то?

Самсонов с удовольствием повторил.

– Леонид Иванович, – он засмеялся, – могу еще одну веселую штучку сказать.

– Давай до кучи.

– Этот многосемейный наш, Максютенко... знаешь, что учудил? Его захватила тетя Глаша в конструкторском с этой, из планового девчонка... с Верочкой! В обеденный перерыв. Заперлись, понимаешь, на ключ!

– Жена знает?

– Никто еще не знает. Вот думаю, что делать? Кашу-то затевать не хочется! Все-таки трое детей. Да и жена, как посмотришь на нее, жалко становится. Хорошая женщина.

– Хорошая, говоришь?

– Хорошая. Вот ведь что.

– А попугать надо, – Леонид Иванович нажал кнопку в стене за спиной. Попугать следует.

Вошла секретарша.

– Максютенко ко мне.

– Там изобретатель...

– Знаю. Пусть подождет.

– Так я пойду, – Самсонов поднялся.

– По правилу тебе бы следовало заниматься этими делами. Моральным обликом, – Леонид Иванович остро и весело взглянул на него. – Ладно, бог с тобой, иди.

Через минуту Максютенко, плешивый блондин с нежной кожей, красноватыми веками и блестящими женскими губами, стоял перед директором.

– Ну, здравствуй! Чего смотришь? Садись... товарищ Максютенко. Рассказывай, как у тебя дела с труболитейной машиной. Министерство скоро меня съест – кончите вы ее когда-нибудь?

Максютенко ожил, заторопился:

– Леонид Иванович, все, что зависело от конструкторов, сделано. Поправки, которые были присланы, переданы в технический...

– Не врешь? – Дроздов устало закрыл глаза. Потер пальцем желтоватый, сухой лоб и, не открывая глаз, спросил: – Что ты там опять... н-натворил с этой... с Верочкой?

Максютенко молчал. Леонид Иванович мерно сопел с закрытыми глазами, словно спал. Потом приоткрыл глаза и, с грустью посмотрев на бледного, вспотевшего конструктора, опять сомкнул веки.

– Я думаю, тебе как члену партии известно, что за такие вещи по голове не гладят, – продолжал он, словно сквозь сон. – Думал, был даже уверен, что ты сохранишь хоть каплю благодарности к тому человеку, который дважды, – здесь Дроздов открыл гневные глаза, – дважды выручил тебя из беды. Послушай-ка, Максютенко, – он вышел из-за стола и зашагал по ковру, не по прямой, а по сложной кривой линии, поворачивая то вправо, то влево. – У тебя, брат, какое-то болезненное, я бы сказал, тяготение к неблагоприятным поступкам. Жена-то небось ничего не знает?

– Ничего... – прошептал Максютенко, вытирая лоб платком.

– А жена ведь у тебя хорошая женщина... Ну, что же мне делать с тобой? Донжуан! Смотри-ка, у тебя ведь и макушка-то одна, а не две. У кого две макушки, как у меня, – видишь вот: раз и два, – тому разрешается иметь вторую жену. И опять-таки – жену! По закону! А ты-то куда лезешь? Что мне теперь с тобой делать? Мне официально донесли. Бери лист и пиши мне объяснение. Здесь садись и пиши. Вот бумага, вот перо.

Через полчаса Леонид Иванович, сидя за столом и надев большие роговые очки, читал объяснение Максютенко.

– Виляешь, брат! Не все написал, – он снял очки, посмотрел с сожалением на конструктора и направился в угол кабинета, к сейфу. – Кладу сюда. Если ты еще что-нибудь отчубу-чишь, тогда пушу в ход сразу все. Смотри – здесь и старые твои грехи лежат. Вот еще одна

твоя покаянная бумажка – помнишь, когда ты пьяный потерял пояснительную записку? Вот она, здесь. Иди и помни: за тебя Леонид Иванович взялся. Он тебя на ноги поставит.

Максютенко ушел, и опять появилась секретарша.

– Леонид Иванович, изобретатель...

– Ждет до сих пор? Ну что ж, пусть зайдет.

Вместо изобретателя вошел Самсонов.

– Ну, как?

– Краснеет. Как всегда. Сядь-ка вот здесь, у меня сейчас изобретатель... Пожалуйста, пожалуйста, – это он уже говорил высокому, худощавому человеку, который стоял вдали, в дверях. – Пожалуйста, прошу!

Изобретатель ровным шагом пересек ковер и остановился у стола. На нем был военный китель, заштопанный на локтях, военные брюки навыпуск, с бледно-розовыми вытертыми кантами и ботинки с аккуратно наклеенными заплатами. Все это было отглажено и вычищено. Изобретатель держался прямо, слегка подняв голову, и Леонид Иванович сразу заметил особую статность всей его фигуры, выправку, которая так приятна бывает у худощавых военных. Светлые, давно не стриженные волосы этого человека, распадаясь на две большие пряди, окаймляли высокий лоб, глубоко просеченный одной резкой морщиной. Изобретатель был гладко выбрит. На секунду он нервно улыбнулся одной впалой щекой, но тотчас же сжал губы и мягко посмотрел на директора усталыми серыми глазами страдальца.

Этот мягкий взгляд немного смутил Леонида Ивановича, и он опустил глаза. Дело в том, что изобретатель три года назад сдал в брыз комбината (то есть в бюро по изобретательству) заявку на машину для центробежной отливки чугунных канализационных труб. Материалы были направлены в министерство, началась переписка, и с тех пор перед каждым выездом Дроздова в Москву к нему приходил этот сдержанный, тихий и, судя по всему, очень настойчивый человек и просил его передать письмо министру и как-нибудь подтолкнуть дело. И нынешняя, последняя поездка в Москву не обошлась без письма. Только Леонид Иванович, приняв это письмо, как и всегда, передал его не в руки самому министру, о чем просил изобретатель, а одному из молодых людей, сидевших в приемной, – первому помощнику. Попало ли это письмо по адресу, Леонид Иванович не знал и не осмелился спросить об этом у министра. А помощника он не смог спросить, потому что этот молодой человек вел себя с людьми неумовимо нагло: не торопился с ответами, улыбался, поворачивался к собеседнику боком и даже спиной.

Вот как обстояло дело. Кроме того, полгода назад появилась еще одна загвоздка: из министерства прислали эскизы и описание другой центробежной машины, предложенной группой ученых и конструкторов во главе с известным профессором Авдиевым. Эту машину приказали срочно построить. Она уже начала свою жизнь и окончательно закрыла дорогу машине Лопаткина. Леонид Иванович чувствовал себя немножко виноватым: в те дни, когда он был, по известным причинам, особенно близок к музгинской десятилетке, где преподавала Надя, – в те дни он, показывая широту характера, легкомысленно пообещал изобретателю «протолкнуть» его проект. И за три года ничего не сделал. А теперь, когда появился проект профессора Авдиева, который в течение многих лет считался авторитетом в области центробежного литья, теперь все бесповоротно определилось. На стороне Авдиева знания и опыт, его дело организовано серьезно, находится в центре внимания и, как выразился один начальник главка, приятель Леонида Ивановича, имеет перспективу. Опыт подсказывал Дроздову, что не надо, даже невольно, становиться на пути авторитетных людей, которые без помех трудятся над делом, имеющим перспективу. Более того, было бы даже грубо поддерживать в этом деле искусственный нейтралитет, в то время, когда приказы министра толкают тебя в ту же группу заинтересованных лиц, обязывая в кратчайший срок дать машину Авдиева в металл. И, конечно, Леонид Иванович давно сказал бы Лопаткину то, что втайне было

уже решено, если бы не эти грустные, верящие глаза, перед которыми он терял спокойствие и забывал свои излюбленные позы и привычки. Поэтому весь разговор, переданный ниже, стоил для него больших усилий.

– Садитесь, – проговорил он, слегка побледнев. – Самсонов, познакомься. Это товарищ Лопаткин. Дмитрий Алексеевич, если не ошибаюсь?

Изобретатель пожал руку Самсонову. Сел, и наступило долгое молчание.

– Что я могу вам сказать... – Леонид Иванович закрыл лицо руками и застыл в таком положении. Отнял руки от лица, потер их, сплел в один большой кулак и стал смотреть на изобретателя, словно что-то соображая. Н-да... Так вот – полный отказ. Да, родной, никто не поддерживает вас.

Лопаткин развел руками и привстал, собираясь уйти. Ему только это и нужно было знать. Но Леонид Иванович опять сказал: «Н-да», – он не кончил говорить.

– Читал ваши жалобы на имя Шутикова (он небрежно назвал эту фамилию заместителя министра). – Читал. Вы остер! (Он так и сказал – остер). Вы и меня там немножко... Ничего, ничего, – Леонид Иванович улыбнулся. – Я не обижаюсь. Вы поступаете правильно. Только у вас одно слабое место: у вас нет главного основания жаловаться. Я не обязан поддерживать вашу машину. Наш комбинат предназначен не для выпуска труб. А те канализационные трубы, что мы делаем, – это для собственных нужд министерства. Для жилищного строительства. Это капля в море. Вам следовало обратиться в соответствующее ведомство, а не к нам. Вот ваша главная ошибка... товарищ Лопаткин.

Изобретатель ничего не сказал, только соединил руки на широком, сильном колене. Руки у него были большие, исхудалые, с выпуклыми суставами на тонких пальцах.

– А вторая ваша ошибка состоит в том, – Дроздов устало закрыл глаза, в том, что вы являетесь одиночкой. Коробейники у нас вывелись. Наши новые машины – плод коллективной мысли. Вряд ли вам что-либо удастся, на вас никто работать не станет. К такому выводу я пришел после всестороннего изучения всех перипетий данного вопроса... – Он грустно улыбнулся.

– Да, да, я понимаю... – Изобретатель тоже улыбался, но улыбка его была мягче, – он понимал состояние директора и спешил прежде всего освободить его от неприятной обязанности говорить посетителю горькие вещи. – Вы меня простите, пожалуйста... – он поднялся и развел руками. – Собственно, я ведь нечаянно попал в эту историю... Хотя я и одиночка, но я ведь не для себя... Благодарю вас. До свидания; – Он слегка поклонился и пошел к выходу прямыми, четкими шагами.

– Сломанный человек, – сказал о нем Леонид Иванович. – Слаб оказался. Слаб. Жизнь таких ломает.

– Да-а, – согласился Самсонов.

– А ты знаешь, он ведь был учителем физики в нашей школе. Где Надюшка преподает. Понимаешь, какое дело? Университет окончил.

– Ну, что ж университет...

– Не говори – Московский. Ты не знаешь, а он ведь настоящий изобретатель. Патент имеет. Свидетельство... Когда ему присуждали авторство, его сразу вызвала Москва – разрабатывать проект. А для них, изобретателей, закон имеется: если тебя вызывают для реализации изобретения – ты уходишь со старого места работы и получаешь на новом тот же оклад. Вот он и выехал, ха-ха! – Дроздов засмеялся, мелко затрясся на своем кресле. – Вот он и выехал! Второй год уже не работает. Здесь другого физика приняли, а там, по приезду, – отказали. Нет ассигнований. Я теперь знаю, чья это работа. Это Василий Захарыч Авдиев. Он сам давно над этими делами колдует... Вон он с тех пор...

– Ты бы ему и разъяснил. Куда ему тягаться с докторами, – сказал Самсонов. – С профессорами!

– Это верно. Но мне он чем-то нравится. Знаешь – надо ему помочь. Уголька, что ли, подбросить, – Леонид Иванович снял телефонную трубку. Мне Башашкина... Порфирий Игнатьич, это ты? Ты вот что: отправь угля на квартиру этому, Ломоносову нашему. Лопаткину, на Восточной улице. Ему, ему! Сколько? Полтонны, думаю, хватит! И дровишек с полкубометра. Во-от, вот, как раз, буду я этим заниматься, подсказывать тебе. На то ты и топливный бог. Спишешь. В общем, отвези сегодня. Проследи.

2

На следующий день Надежде Сергеевне надо было выходить на работу. За час до начала уроков второй смены она надела манто, шапочку и зеленые пуховые варежки, постояла некоторое время перед зеркалом, а выйдя во двор, даже попробовала пробежаться по снежной тропке до ворот: так ярко, счастливо сиял снег под темно-синим небом и так хорошо чувствовала она себя. Но до ворот она не добежала – перешла на тяжеловесный, немного развалистый шаг, который стал уже привычным для нее. Она вышла на улицу, постепенно пригляделась к яркому снегу, забыла о своем новом манто, и счастливая улыбка исчезла с ее лица – оно стало даже немного грустным. Надежда Сергеевна глубоко задумалась.

Она приехала в Музгу три года назад – сразу по окончании педагогического института. В первый же год она познакомилась с человеком, которого везде называли коротко – Дроздов. Надю поразили тогда его маленький рост и слухи о его необыкновенном таланте властвовать и управлять. С живейшим интересом выслушивала она в учительской анекдоты о нем, которые всегда рассказывались вполголоса, почтительно и немного враждебно. Один анекдот был такой: Дроздов поехал в своем «газике» на топливный склад. Во дворе склада он остановил машину и некоторое время наблюдал, как посетители шли от ворот в контору, бредя в сапогах через большую весеннюю лужу, по колено в грязи. Затем Дроздов приказал шоферу въехать в эту лужу и, открыв дверцу «газика», весело крикнул начальника склада Башашкина. Эту часть анекдота рассказывали с особенным удовольствием: Башашкина не любили в Музге. Дроздов вызвал его и перед всем народом стал приглашать подойти поближе к машине. И – нечего делать Башашкин подошел к нему, как был, в своих желтых «полботиночках», и стоял в луже полчаса, выслушивая неторопливые указания Дроздова об учете топлива. Зато на следующий день у Башашкина на складе уже был построен высокий деревянный тротуар.

Надя любила романы Джека Лондона, и ей казалось, что Дроздов чем-то похож на золотоискателя из романа «День пламенеет». Она и сюда, в Сибирь, ехала с тайной надеждой встретить такого героя, способного объединить силы тысяч людей – капризных, хладнокровных, обидчивых и требовательных, рабочих и специалистов. Она познакомилась с Дроздовым во время одной из экскурсий на комбинат. Три дня спустя маленький человек, с твердым мальчишечьим голосом, уже катал ее ночью на тройке, по степи, сверкающей лунно-морозными кристалликами. А через месяц она вошла в его дом, заново отделанный по случаю женитьбы. Правда, женитьба была неофициальная настоящая жена Дроздова жила в другом городе. «Ушла, но виноват я, объяснил Леонид Иванович. – Увлёкся работой, а ей требовалась личная жизнь». Жена не давала ему развода. Но это была лишь временная трудность. Еще несколько месяцев – и в новом паспорте Нади уже значилась новая фамилия: Дроздова.

И вот прошло два года... Подумав об этом, Надежда Сергеевна неожиданно и глубоко вздохнула и с тревогой спросила себя: почему это – вздох? Уже давно она стала замечать в зеркале свои задумчивые и странно увеличенные, словно от испуга, глаза. Уже два года возникали в ее голове внезапные, пугающие вопросы, и она не могла ответить на них, пока не приходил муж. Леонид Иванович с усмешкой выслушивал ее и успокаивал четким, разубающим все трудности ответом.

В первой же беседе с женой, – это было на четвертый или пятый день после их неофициальной женитьбы, – Дроздов отверг все, чему ее учили с детства, и Надя со страхом и восхищением приняла от него новый, дерзко упрощенный взгляд на жизнь.

– Милая, – сказал он устало и сел рядом с нею на диван. При этом оказалось, что теперь они одного роста. – Милая, вот в чем дело: все, что ты говоришь, – это девятнадцатый век. Изящная словесность. Должен тебе сказать, что я ничего этого не понимаю и не жалею об

этом. Вот так. Вот что я тебе могу сказать на вопрос по поводу моего нетактичного, как вы изволили выразиться (он улыбнулся), обращения с подчиненными. Дорогая супруга, надо кормить и одевать людей. Поэтому мы, работяги, смотрим на мир так: земля – это хлеб. Снежок – это урожай. Сажа валит из труб – это убыток и одновременно напоминание: есть приказ министра о ликвидации убытков, над чем мы ежедневно просиживаем штаны. Человек, который стоит передо мной, – это хороший или плохой строитель коммунизма, работник. Я имею право так думать о нем, потому что и о себе я иначе не могу думать. Я живу только как работник – дома, на службе, я везде только работник. Мне звонят ночью, когда я – спящий человек. И напоминают, что я работник! Мы бежим наперегонки с капиталистическим миром. Сперва надо построить дом, а потом уже вешать картиночки. Видела ты когда-нибудь здорового такого плотника, от которого пахнет мужицким потом? И который строит дома? Я этот плотник. Вся правда в моих руках. Построю дом – тогда вы начнете вешать картиночки, тарелочки, а обо мне забудете. А вернее, забудут об нас с тобой, как ты есть моя дражайшая половина и делишь со мной участь. Вот так. – Он положил руку ей на плечо. – Довольны ли вы таким объяснением?

Надя молчала, и Леонид Иванович, скосив на нее чуть насмешливые черные глаза, сказал отчетливее и резче:

– Я принадлежу к числу производителей материальных ценностей. Главная духовная ценность в наше время – умение хорошо работать, создавать как можно больше нужных вещей. Мы работаем на базис.

Ночью, придя с работы, он иногда брал с собой в постель «Краткий курс истории партии», надев большие очки, читал всегда четвертую – философскую главу. И Надя тоже читала. Они лежали рядом на квадратной, деревянной кровати с тумбочками и ночниками по обе стороны. Леонид Иванович найдя в книге нужное место, снимал очки.

– Вот ты говорила о том, что у меня крайности. У того, кто работает на материальный базис, крайностей не может быть. Потому что материя первична. Чем лучше я его укрепляю, базис, тем прочнее наше государство. Это тебе, родная, не Тургенев.

– Ты путаешь. Базис – это отношения между людьми по поводу вещей а не сами вещи, – однажды, не очень смело, сказала ему Надя. Она много раз изучала этот предмет, но никогда не чувствовала себя в нем твердо.

Леонид Иванович перечитал ту страницу, где было сказано о базисе, и повторил:

– Я укрепляю базис. Я произвожу вещи, по поводу которых люди будут вступать в отношения. Были бы вещи, а уж кому вступать по поводу их... в отношения, – он засмеялся, – за этим дело не станет!

Управлял людьми он твердо, с легкой усмешкой. Сложные вопросы решал в один миг, и дела комбината под его руководством шли по ровной, чуть восходящей линии. Министр в своих приказах всегда упоминал Дроздова, ставя его в пример другим. Надя давно уже смотрела на мир его глазами смотрела, может быть, с некоторым испугом, но не могла иначе: своего ничего не могла придумать.

Так, в глубоком раздумье, ничего не замечая вокруг, Надя шла в школу по снегу, скрипящему под ботами, как крахмал, и ее дыхание развевалось на морозном ветру легким, все время исчезающим шарфом.

На перекрестке, где сходились проспект Сталина и Восточная улица самая длинная улица поселка, – Надя увидела бывшего учителя физики Лопаткина. Он был в солдатской ушанке и в черном старом пальто. Шел он прямо на Надю, подняв воротник и спрятав руки в карманы. Надя уже целый год не здоровалась с ним. Во-первых, потому, что он когда-то ей нравился. Будем говорить прямо – она была влюблена в него и теперь не могла простить себе этой глупости. Во-вторых, потому, что ей было жаль этого сумасшедшего чудака и она боялась причинить ему боль своим состраданием. Поздороваешься с ним, пожалеешь, а он

начнет вдруг что-нибудь кричать! И на этот раз Надя, побледнев, глядя только вперед и вниз, прошла мимо, всеми силами души прося его, чтобы он не поздоровался и не остановился. И Лопаткин, словно понял ее, – ровно прохрустел по снегу своими черными ботинками с круглыми наклеенными заплатами, неловко оступился, пропуская ее, и исчез, как неприятный сон.

Он был когда-то нормальным человеком. Надя помнила – он преподавал не только физику, но и математику. А теперь вот не дает покоя Леониду Ивановичу со своим смешным и несуразным проектом. И пишет, пишет во все места – академикам, министрам и даже в правительство! Должно быть, война тронула мозги и у этого человека. Как это сказал муж?... Да, вот: нет в Москве другой работы, кроме как читать письма этих марсиан!

Надя вздохнула, и мысли ее опять повернули на привычную тропу. Вот муж... Видно, так и должно быть: одно нам не нравится в человеке, другое непонятно, а третье очень хорошо. Человек противоречив по природе своей. Это говорил Наде он сам. И это правда!

Ведь вот минувшим летом, когда ездили на массовку за город, – сумел же он тогда понравиться всем! Играл в волейбол, прокатился на чужом велосипеде, вспомнил молодость. Потом объявил конкурс на плетение лаптей. Все сдались, а он быстренько поковырял проволокой и сплел из лыка пару маленьких лапотков. Они и сейчас висят над столиком в ее комнате. Он очень хорош, прост, когда, придя с работы и надев полосатую пижаму, начинает возиться с рыболовными снастями – паяет крючки, строгают рогульки для жерлиц. Только вот... если бы не пел. У Дроздова совсем не было музыкального слуха, и когда он на кухне затягивал свое любимое «Стоить гора висо-о-окая», – песню, которую можно было узнать только по словам, ей казалось, что он где-то порядочно выпил.

– Да-а... – Надя вздохнула и, сразу прогнав все свои воспоминания, стала подниматься по ступенькам школы.

До начала уроков оставалось двадцать минут, и все три клеенчатых дивана и стулья в учительской были заняты. Старая дева – словесница – обложилась книгами и сумками и проверяла за маленьким столиком тетради. Вторая старушка – биолог – просматривала тетради в углу клеенчатого дивана, ее сумки и книги стопками стояли около нее на полу. Тут же сидели две молодые, улыбающиеся учительницы первой ступени – слегка накрашенные и завитые и обе в одинаковых голубых шерстяных кофточках с короткими рукавчиками, обнажающими руку почти до плеча. И третья старушка математичка Агния Тимофеевна, подсев к ним, читала нотацию по поводу этих рукавчиков.

На другом диване сидели рядом хорошенькая молодая химичка и две учительницы немецкого языка. Здесь шел разговор о чулках с черной пяткой, которые тогда начинали входить в моду и которых здесь еще никто не видел. В самом уголке дивана примостился единственный в школе мужчина преподаватель истории Сергей Сергеевич; он демонстративно развернул газету и закрылся ею от своих соседей.

На третьем диване было свободное место. Там расположилась со своими тетрадями подруга Нади – учительница английского языка Валентина Павловна – курносая, с весело приподнятой бровью, с веселыми кудряшками, начесанными на большой выпуклый лоб. Этот лоб делал лицо ее некрасивым, как бы составленным из двух половинок – верхней и нижней. Но Валентина Павловна не замечала своей беды – была всегда весела, шушукалась с молодежью, и в учительской часто слышался ее легкий, счастливый смех. Никто не подумал бы, что она с сорок второго года одна воспитывает дочь, и тем более никто не поверил бы, что за этим легким смехом может скрываться не очень счастливая любовь.

Увидев Надю, Валентина Павловна молча подвинулась на диване. Надя села, и они, наклонив головы, сразу заговорили вполголоса, как сообщницы.

– Ну как? Стучится? – спросила Валентина Павловна.

– Все время молотит. Такой хулиган!

– Который месяц?

– Пятый. Мне теперь все время дурно делается по самым разным причинам. Тут как-то свекровь показала мне материал в полоску – и мне от этих полосок стало дурно! А у вас что нового?

Они были очень близки, но, как и два года назад, говорили друг дружке «вы».

– Все так же, – сказала Валентина Павловна, и в ее веселых глазах доверчиво, но все-таки очень далеко промелькнула грусть.

Между тем математичка, отчитав двух модниц, наконец оставила их.

– С приездом, Надежда Сергеевна, – сказала она. – Вас тоже склоняли вчера. На педагогическом совете.

– За что?

– А чего ж вы... Ганичева Римма по всем предметам успевает, а по географии вы ей двойку...

Она сказала это строгим голосом. Но в учительской все хорошо знали Агнию Тимофеевну и ее манеру шутить.

– А кто склонял? – спросила Надя улыбаясь,

– Директор. И она права: раз у Ганичевой по биологии три, значит и по географии должно быть не меньше трех...

Надя выпрямилась и закусила губу.

– Знаете, Валя, вот так всегда... Помните, я говорила? Директор вечно со мной через третьих лиц...

– Надежду Сергеевну муж выручает, – заговорила словесница, сняв очки. Мне так прямо сказали: ставь Соломыкину тройку. Это, мол, вина не ученика, а ваша недоработка. А знаете, что он написал в сочинении? «Иму не нависны дваряни!» Это о Тургеневе! Девятый класс!

– Плохих учеников нет, есть плохие учителя, – пробасила математичка, и все засмеялись.

– Эх, я бы с нею поспорила, я бы не согласилась! – громко шепнула Валентина Павловна. – Словесница у нас – овечка.

– Уж будто вы, Валя, никогда не сдавались...

– Верно, иногда устанешь бороться и махнешь рукой, бог с ними, получайте вашу тройку. Только к чему это ведет? Все это делается не для пользы, а для отчета. Ведь нужны знания, а не отметка! Бумажка, которую мы здесь выдаем, она только вредит – по бумажке человека ставят на пост, а он, вот такой Соломыкин, вытянутый за уши, он еще станет врачом! Или начальником... Тяжелей всего слушать неграмотную речь, когда ее произносит человек, поставленный тобой руководить.

Валентина Павловна говорила еще что-то, смеялась, а Надя вдруг застыла, задумалась, глядя вниз и ничего не видя. Она вспомнила, как однажды Леонид Иванович прислал ей с комбината записку и записка эта начиналась словом «Обеспеч», написанным крупными буквами и без мягкого знака. Позднее Надя осторожно сказала мужу об этом: она боялась, как бы Леонид Иванович не написал такое еще кому-нибудь. Но он веско ответил: «Грамота – это грамота...» И Надя поскорее перебила его, переменила тему, чувствуя, что он дальше скажет «...и ничего больше».

– Иду по Москве и читаю, – говорила Валентина Павловна: – "Прием заказов платья", "База снабжения материалов". Золотом по мрамору! Это все наши ученики пишут. Все Соломыкины! И мне думается, Надюша... Вы что? Что с вами?

– Да так, задумалась. Я всегда задумываюсь, когда вы говорите. Вы знаете, я совсем не умею бороться. Даже думать не умею!

– А зачем вам бороться? Вы за Дроздовым как за стеной. За что Ганичевой двойку?..

– За подсказку и за шпаргалку. Я снижаю оценку, если замечаю такие вещи. Безжалостно. Послушайте, Валя... вы сегодня видели его?

Валентина Павловна покачала головой: не видела.

– А вчера?

– Видела... Издалека, – шепнула Валентина Павловна. – Я к нему иногда хожу. Только редко.

– Вы бы хоть мне его показали как-нибудь. Вы его любите? Это не шутка?

Валентина Павловна покачала головой: нет, не шутка.

– Что он – красив?

– Что – красота! Вы помните красоту Элен из «Войны и мира»? Красота вещь относительная...

Сказав это, Валентина Павловна спохватилась, взглянула на Надю: не обиделась ли она, красивая? Не считает ли всю эту философию самозащитой некрасивых? Но Надя слушала, широко открыв глаза, и Валентина Павловна успокоенно вздохнула.

– Дело здесь не в красоте, Надюша. Я ведь была когда-то боевой комсомолкой, и иногда чувствую, что это осталось во мне... на всю жизнь. Когда мы первый раз встретились с этим человеком... В общем, амур не присутствовал при нашей первой встрече. У меня началось с желания ему помочь. Как в хорошие комсомольские времена...

– А как вы его полюбили – сразу? С первого взгляда? Валюша, ну расскажите!

– Нет. Не сразу. Не с первого взгляда. Знаете, чтобы полюбить – взгляда мало. Нужно с человеком столкнуться. Такое столкновение нужно, чтоб почувствовался характер. И у нас было столкновение. Но почувствовала одна я.

– А он?

– Он – нет. Для него я – чужой и непонятный человек. Я встречаюсь с ним и вспыхиваю, а мне ведь тридцать лет! Ах, Надя, вы не знаете, что это такое. Если бы хоть один его взгляд сказал мне то, что... я ведь не могу скрывать!.. – за одну такую минуту я отдала бы все. Он тоже меня замечает, вспоминает обо мне, но не так, как я... А я вот вспоминаю иначе... Валентина Павловна опустила голову, потом подняла, и Надя увидела слезы в ее доверчивых и ясных глазах. – Вы знаете – это человек высочайшей души. Смелый. Умный. С кем ни встретится, оставляет след. Это настоящий герой, о каком я мечтала девочкой. Ах, если бы он встретился мне раньше. Я бы побежала за ним на край света. Ни секунды бы не думала! Я ведь была тогда лучше...

– Ми-илая! – Надя прижала ее руку к дивану, прикоснулась к ней плечом. – Вы и сейчас лучше всех!

За стеной, в коридорах школы, тонко разливался звонок. Учителя не спеша собирали книги, журналы, выходили из учительской.

– Хватит, хватит сплетничать! – с сердитым весельем пробасила старая математичка, проходя мимо них, и подруги, вздыхая, поднялись.

– Мы еще поговорим? Ладно? – сказала Надежда Сергеевна, глядя на подругу грустно-восхищенными глазами. – Хорошо, поговорим?

– Не знаю, что здесь интересного. Тем более для вас. Не притворяйтесь! Вы не меньше моего знаете, что такое любовь...

И Надя вдруг почувствовала на лице у себя странное, фальшивое выражение. Оно говорило: «Конечно! Я знавала любовь» – и еще: «Пожалейте меня, Валентиночка, я совсем ничего не знаю, сама себя не могу понять...»

Около лестницы они расстались, шуточно и ласково протянув друг дружке руки. С той же чужой, растерянной улыбкой Надежда Сергеевна вошла в седьмой "Б" класс. Она поздоровалась с учениками, села за стол, и все ее непонятные заботы отошли в сторону.

Со второй парты на нее угрюмо смотрела Римма Ганичева. Ее темные глаза были неприятно раздвинуты к вискам и напоминали о бинокле. Надежда Сергеевна сразу увидела и свою «лаборантку» – Сьянову, бледную и худенькую девочку-подростка, с тревожным взглядом, – и улыбнулась ей. К Сьяновой Надежда Сергеевна давно уже чувствовала необъяснимую материнскую нежность и жалость.

– Ну, как мы подготовились? – сказала Надежда Сергеевна и посмотрела на доску. Да, конечно, лаборантка опять постаралась – развесила карты и нарисовала на чисто вытертой доске контуры Севера и центра Европейской части СССР.

– Ну что ж, очень хорошо. Прекрасно, – сказала Надежда Сергеевна уже учительским тоном. И урок начался.

Она вызвала к картам троих учеников и, задав всем вопросы, мельком взглянула на Сьянову. Эта тихая, исполнительная девочка очень боялась вызовов к доске и всегда получала по географии тройки. Надежда Сергеевна решила сегодня побороть страх своей лучшей лаборантки и вдруг сама почувствовала робость.

– Сьянова! – сказала она, как бы между прочим, устало прикрыв пальцами глаза.

Девочка встала, уронила учебник и, не заметив этого, прихрамывая от страха, подошла к доске.

– Вот ты показала здесь Север Европейской части. Нанеси теперь реки Севера и покажи размещение полезных ископаемых. И не бойся, – добавила она тише.

– Я не боюсь, Надежда Сергеевна. Вот Печора... – Сьянова слабо улыбнулась и стала жирно вести мелом Печору от Двинской губы.

У Надежды Сергеевны закололо в груди. Класс негромко зашикал. Сьянова остановилась и побледнела. Потом быстро стерла свою «Печору» и на этом же месте уверенно нарисовала ветвистую Двину. Стукнула мелом и оглянулась. Все усиленно кивали. Надежда Сергеевна опустила глаза к классному журналу. Покончив с Двиной, Сьянова нанесла Печору, Мезень и Онегу. Вычертив все изгибы Онеги, она опять оглянулась, и ученики в первых рядах, косясь на учительницу, осторожно кивнули. «Не буду замечать», – решила Надежда Сергеевна. Под маленькой рукой Сьяновой быстро и верно разветвились реки Нарва и Кола с Туломой – это было сделано уже сверх того, что требовалось. «Она все знает. Ей не хватает смелости», – подумала Надежда Сергеевна, следя за ответом другого ученика. Она мельком взглянула на контур Севера Европейской части и увидела, что на нем уже показаны месторождения апатитов и тихвинские бокситы. Не было лишь Ухты. «Поставлю четыре, – подумала Надежда Сергеевна, – может быть, с этой четверки у нее начнется другая жизнь».

– Ну, – сказала она. – Что у тебя?

Оживленное лицо Сьяновой сразу померкло.

– Я что-то еще забыла, – призналась она и положила мел. – Никак не могу вспомнить.

– Садись. Ставлю тебе четыре. Сейчас мы вспомним сообща, что ты забыла.

И тут же Надежда Сергеевна заметила поднятую руку Ганичевой.

– Ну вот, Римма сейчас нам скажет...

Ганичева встала, оглянулась направо, налево и заговорила, упорно глядя в сторону, при каждом слове поднимая одну бровь:

– Вот вы, Надежда Сергеевна, поставили мне двойку за подсказки. А Сьяновой все время подсказывали. Кто? Вот и скажу – Парисова подсказывала, Слаутин, Вяльцев...

– Мы не подсказывали! – закричали сразу несколько ребят.

– Кивали! Вот и кивали, я видела! А когда Печору – Ханапетова сразу зашикала, и Сьянова стерла Печору. Так что вот... – и, не договорив, Ганичева села, и в ее оттянутых к вискам больших глазах засветилась удовлетворенная месть.

– Сейчас Сьянова сама разрешит наши сомнения, – сказала Надежда Сергеевна. Сьянова поднялась. – Оценка зависит от твоего ответа, Сьянова. Если тебе подсказывали, я поставлю два.

– Подсказывали, – чуть слышно сказала Сьянова.

– Не подсказывали! – взорвался весь класс. – Кивали! Надежда Сергеевна! Только кивали!

– Кивали, – еще тише сказала Сьянова.

– Хорошо. Я поставлю три. – Надежда Сергеевна тихо вздохнула и посмотрела на Ганичеву. – Ставлю три. Но, ребята... правду говорить с досады не лучше, чем скрывать правду. Для того чтобы отомстить, чаще применяют ложь. Но, как видите, применяют и правду. Если бы Ганичева хотела заставить Сьянову лучше работать, она должна была сначала с ней поговорить. А вы тоже хороши! Киваете... Зачем кивать?

На перемене около учительской к Надежде Сергеевне подошли несколько учеников из этого класса, притихшие, строгие, и стали просить, чтобы она поставила Сьяновой четверку.

– Ей трудно учиться, – сказала черненькая подкачкица Хананетова. – У нее большая семья, и они бедные. Ей много приходится работать дома. Мы ей помогаем...

– Помогайте, только не подсказками, – сказала Надежда Сергеевна своим привычным тоном руководительницы и задумчиво посмотрела в окно. – Где она живет?

– На Восточной улице, в самом верху.

«Надо сходить. Схожу, посмотрю», – подумала она.

Надежда Сергеевна и не подозревала, что там, в домике Сьяновых, и начнется первый большой поворот в ее жизни.

3

Она хотела навестить семью Сьяновых на следующий день. Но это ей не удалось, потому что Леонид Иванович, который был в последнее время очень хорошо настроен, задумал попить, или, как он выражался, организовать сабантуй. Надя догадывалась, в чем дело. Дроздов в Москве получил какие-то более серьезные и секретные сведения о своем новом назначении гораздо более важные, чем то, что знала она. Вот он и развеселился, не мог найти себе места и, наконец, придумал: устроить оловянную свадьбу. Как раз прошло два года с того дня, как они расписались в поселковом загсе.

Был сразу же назначен день, Леонид Иванович пригласил гостей, а к Наде была вызвана портниха. Она начала срочно шить для Нади из синего кашемира специальную свободную одежду, которой Дроздов каждый день давал новое название – то размахай, то разгильдяй – как придется. Из ближней деревни привезли старуху – родственницу Шуры, и на кухне началась работа.

Надя решила пригласить на празднество кого-нибудь из своих, чтобы было не так скучно, и сказала об этом мужу. Леонид Иванович спросил:

– Кого?

Надя назвала имена нескольких учительниц, в том числе и Валентины Павловны.

– Н-да, – сказал Леонид Иванович и, закрыв глаза, с силой провел сухонькой рукой по лицу, как бы сминая нос и губы. – Н-не рекомендую. Почему? – Он посмотрел на нее одним глазом из-под руки. – Потому что они, как бы тебе сказать... рабы вещей. Увидят и отождествят тебя и меня с теми вещами, которые нас окружают. У них нет таких вот часов, которые стоят на полу. Они всегда по этой причине будут свою зависть переносить на ничего не подозревающего человека. Как у Моцарта с Сальери получилось. Рано или поздно, ты будешь изолирована от них и не по твоей вине. Это тебе ответ на твой наболевший вопрос. Значит, так: не рекомендую звать учительниц. А впрочем – зови. Но это только ускорит процесс изоляции.

И Надя, подумав, позвала на свою «оловянную свадьбу» не всех, а только одну Валентину Павловну.

В назначенный вечер Надя приготовилась встречать гостей. Она все время помнила слова мужа об изоляции и уже нашла себе место в той неуютной жизни, на которую обрекал Леонида Ивановича его высокий и ответственный пост. Она должна была совершать подвиг вместе с ним.

Начали съезжаться всегдашние гости. Первым появился управляющий угольным трестом – рослый мужчина в кожаном пальто на собачьем меху и в новых фетровых бурках. За ним пришли Ганичевы – муж и накрашенная жена в платье из черных немецких кружев. Ганичева сразу же внесла в гостиную дурманящий запах каких-то незнакомых духов. Дочь Римма была очень похожа на нее. Надя знала, что у нее есть еще одна дочь, которую зовут Жанной. Эта дочь уехала в Москву – поступила на химический факультет. И говорят, что когда Жанна училась в десятом классе, у нее с учителем физики Лопаткиным была какая-то романтическая история...

После Ганичевых приехал секретарь райкома Гуляев – смуглый, горбоносый кубанский казак, одетый в военное. За ним прибыл председатель райисполкома – пожилой, увесистый и одетый тоже в военное. Затем ввалился директор совхоза; этот был весь в снегу, в двух тулупах – добрался из степи на санях. Вскоре после них пришла и Валентина Павловна. Сняла свою шубку, показала на миг в гостиную и вернулась в коридор к Наде, которая к этому времени уже приветствовала районного прокурора и его жену.

Мужчины успели надымить папиросами, и Надю начало поташнивать. Она улыбнулась новой гостье – громогласной заведующей райторготделом Канаевой. Улыбнулась, но в это время Канаева закурила около нее, и Надю передернуло.

– Я не могу... – шепнула она Валентине Павловне.

– На каком месяце? – глухо спросила Канаева, взяв ее за плечи, дыша табаком. – Ах, вон что... Так ты чего тут стоишь? На диванчик иди.

Но Надя все же героически устояла на месте.

В гостиной между тем разгорелась нестройная веселая беседа.

– Значит, Леонид Иванович, выпьем, говоришь, прощальную? – доносился голос директора совхоза.

– Да... – должно быть, в эту минуту Дроздов закрыл глаза. – Мужественно расстаемся... С бокалом в руке. Как подобает суровым мужчинам Сибири...

– Не забывай нашу Музгу! Она одна на свете...

– Ну, память о Музге с Леонидом Ивановичем в Москву поедет, – сказала Канаева. – Едет не один, а двое!

– Трое! – крикнул управляющий угольным трестом. Он еще до прихода успел где-то выпить.

– Как хорошо! И Жанночке моей теперь будет к кому зайти. Все-таки земляки. – Это Ганичева вставила слово.

– Ну, как она там?

– Второй курс кончает.

– Леонид Иванович! Леонид Иванович! – звал с другого конца чей-то голос, веселый и искательный. – Ты бы перед отъездом взял да и распорядился насчет грейдера! Нам на память! Чтоб мы поставки осенью повезли по дорожке!

– Это Ганичев сделает, – ответил Дроздов шутливо. – По вступлении на трон...

Валентина Павловна стояла около Нади и через открытую настежь дверь наблюдала за гостями.

– Что вы там в коридоре? Идите к нам, в наш кружок! – любезно извиваясь, позвала ее Ганичева. Она рассказывала женщинам об Австрии, где прожила с мужем целый год.

– Ну и как там после нашей Сибири? – перебил ее Дроздов и прошел к выходу, не ожидая ответа.

– Ах, никакого сравнения! – закричала, всплеснув руками, Ганичева. Никогда бы оттуда не возвращалась.

И Валентина Павловна, все так же не говоря ни слова, остановила на ней свой спокойно наблюдающий взгляд.

Леонид Иванович, выйдя в коридор, позвал глазами Ганичева. Тот вскочил, и они остановились около стены – маленький и высокий.

– Ну? – хмурясь, спросил вполголоса Леонид Иванович.

– Он сказал, что очень сомневается.

– Ты мне толком все-таки скажи, что он там раскопал?

– Он хочет остановить авдиевскую машину.

– Н-ничего не знаю, – протянул Леонид Иванович. – Вот еще! А имеет он право?

– Он советует не торопиться...

– Ничего не знаю. – Леонид Иванович нахмурился, подвигал коленом. – Вот ему Авдиев с министром всыплют... Покажут ему вето!

И он резко повернулся, чтоб уйти.

– О ком это вы? Что-нибудь случилось? – тихо спросила Надя.

– Что может случиться с нами? – он тепло улыбнулся. – Разве Черномор невесту украдет? Завод, завод, – добавил он серьезно. – Это не мастерская какого-нибудь «Индпошива».

Надя не смогла до конца выдержать роль хозяйки дома. Когда по знаку Леонида Ивановича гости перешли в столовую, после первых двух тостов она отдала мужу свою рюмку с недопитой вишневкой (чтоб он допил, потому что тосты были за счастье), извинилась и вышла. Легла у себя в комнате на диван, и тут же к ней подсела Валентина Павловна, посмотрела на нее внимательными, грустными глазами.

– Надюша... Ведь у вас здесь, на этом вечере, нет ни одного друга! Ни у вас, ни у Леонида Ивановича...

– Правда... – Надя сказала это слово и испугалась. – Нет никого. Кроме вас...

– Я не в счет...

Они надолго замолчали. Надя лежала неподвижно и смотрела на строгий, некрасивый профиль подруги.

– Почему? – спросила Валентина Павловна.

В эту минуту из столовой в коридор открылась дверь и донесся извивающийся голос Ганичевой:

– Господи! Кто же мог тогда предположить? Впрочем, Жанночка мне писала, что он не оправдал надежд.

– Изобретатель-то? – засмеялся Дроздов, и дверь закрыли.

– Это о ком? – живо спросила Валентина Павловна.

– О нашем Лопаткине.

Они опять затихли. Валентина Павловна вдруг взяла Надю за руку.

– Вы на меня не сердитесь? Ради бога не сердитесь! Я просто не ожидала. Это не свадьба у вас, а прием в районном масштабе: «Присутствовали такие-то, такие-то и такие-то лица...» Все громкие имена. Почему у вас не было никого из рядовых, обыкновенных людей, скажем, доктора Ореховой? Ведь она к вам часто ходит в обычные дни. А Агния Тимофеевна – она ведь вас любит! Вы и ее не пригласили?

Надя не ответила, и Валентина Павловна, взглянув на ее бледное лицо, покрытое серыми пятнами, прекратила расспросы.

За стеной был слышен нестройный, расслабленный хор – гости пробовали затянуть песню. Песня долго не ладилась. Потом кто-то захлопал в ладоши.

– Товарищи! – это был голос Канаевой. – Надо внести в это дело элемент организованности! Пусть жених запекает, а хор будет подхватывать. Давай, Леонид Иванович!

И Дроздов затянул. «Стоит гора выс-о-окая!..» – взвился его вибрирующий, глухой голос. Надя покраснела. Как всегда, песню можно было понять лишь по словам. Но хор, с трудом сдерживавший свои силы, грянул – и исправил все дело.

Валентина Павловна обняла Надю.

– Ну, ничего, ничего... Это что – для вас? – она посмотрела на пианино. В нем отражались две женские фигуры. – Играете?

– Собственно, не играю, а так... размышляю иногда.

– Поразмышляйте, пожалуйста, а?

– Они услышат, – Надя посмотрела на стену. – Еще сюда придут, играть заставят. Я чувствую, они уже основательно там... Лучше завтра как-нибудь.

– А это кто? – спросила Валентина Павловна и, быстро встав, сняла со стены фотографию в коричневой деревянной рамке. Из рамки смотрел молодой крестьянин в фуражке, в черном пиджаке и в новых сапогах. Он сидел, раздвинув колени, отставив локоть, прямой и неприступный. Из-под фуражки выбился как бы нечаянно чуб, а на лацкане пиджака Валентина Павловна заметила значок, окруженный шелковым бантом.

– Он? – шепнула Валентина Павловна с уважением.

Надя кивнула.

– Он что – в гражданской войне участвовал?

– Нет. Тогда все надевали банты.

– Когда же это?

– В двадцатом или в девятнадцатом году. Он плотником работал. Красивые избы ставил. У него где-то есть фотографии. Нет, Валя, он не так уж плох. – Надя посмотрела на Валентину Павловну, и серые глаза ее посветлели и словно увеличились от выступивших слез.

– Надя, миленькая, что вы! Это вы, по-моему, своим мыслям что-то... возражаете. Конечно, неплох! Я, вернее, его не знаю. Он скорее всего даже хороший и человечный, и все такое... Я только думаю об одном: почему...

– Он не плохой, – упорно продолжала Надя. – Он очень много работает. Просто забыл человек себя. Он совсем забыл о себе, думает только о работе. Вот и все!

– Значит, вы его любите?

– Я же вышла за него замуж! Он мой муж! – сердито сказала Надя и, шмыгнув носом, стала развешивать и складывать платок.

Гости разъехались поздно ночью. Дроздов проводил их к машинам, постоял на крыльце, громко хлопнул дверью и, напевая, бодро вошел в комнату Нади.

– Ну что, товарищ педагог? – и сел около нее. Он чуть-чуть побледнел от водки, но движения его были точны и рассуждал он трезво, как всегда, – со своим дроздовским смешком. – Что с вами, мадам? Нездоровится?

– Я хотела у тебя спросить, Леня. Почему у тебя нет друзей?

– Как это нет? А это кто? Вон что в столовой натворили – смотреть страшно!

– Я говорю, настоящих друзей.

– Настоящих? Вон чего захотела... Видишь, Надя, я тебе говорил уже. Помнишь, говорил? Друзей у нас здесь быть не может. Друг должен быть независимым, а они здесь все от меня как-нибудь да зависят. Один завидует, другой боится, третий держит ухо востро, четвертый ищет пользы... Изоляция, милая. Чистейшая изоляция! И чем выше мы с тобой пойдем в гору, тем полнее эта изоляция будет. Вообще, друг может быть только в детстве. Мне очень, конечно, хочется иметь... Я вот надеюсь на тебя...

Он встал и зашагал по ковру – не прямо, а зигзагами, делая неожиданные повороты и остановки.

– Вот они – пили за наше здоровье. Думаешь, они нам друзья? Нет. Секретарь – этот все щурится. Не нравится ему что-то во мне. Твердая рука Дроздова не по душе. Не теоретически действую иногда, вот его и коробит. Видишь – ушел! Сразу же после тебя и поднялся. Ну, кто же еще... Ганичев – этот вроде ничего, этот ничего, кажется. Но он мой наследник. Я уеду его уже прочат на мое место, и он знает. Он ждет, когда я уберусь. Чтоб наследство поскорее принять...

– Значит, ушел Гуляев? – задумчиво проговорила Надя.

– Молод и соглашатель – Леонид Иванович угадал ее мысли и опять заговорил о Гуляеве. – Нельзя к Дроздову на свадьбу не прийти. Приглашен. Опасно это – обидеть Дроздова. А на бой выйти боится. Взять меня не сможет – районишко у него худой. Весь экономический базис, прости, – он улыбнулся, – вся экономическая база вот в этой, Дроздова, руке. Вот он и половинничает: ушел «по делам»!

– О ком это ты говорил в коридоре с Ганичевым? – спросила Надя.

– Да вот... приехал из Москвы. Некто Галицкий. Доктор наук. Строим мы тут одну машину, так он говорит, что принцип устарел... В первый день, когда приехал, он только сказал, что будет помогать при сборке. Через три дня спрашиваю его, как машина. «Н-ничего, как будто». Еще через два дня встречаемся – а он словно заболел. Лохматый, бледный, глаза прячет. Еще бы! Представитель заказчика! Промычал что-то и пошел к себе. А теперь вот – высказался!

Леонид Иванович посмотрел на пол, поморгал, потом решительно поднял голову.

– Вот так, дорогая. С кем же нам дружить? Мы с тобой уже не студенты. Мы теперь серьезные люди, многогранные. Чем дальше, тем больше граней. Простой ключ к нам уже не подойдет. Какой выход из этого? А выход такой: сплотимся! Раз мы подошли друг к другу. – С этими словами Дроздов обнял жену и, откинувшись, посмотрел на нее издали. – Хороша, хороша!..

Всего лишь несколько слов – и все поставлено на место! Но все ли? Надя туманно посмотрела на мужа. Они действительно были многогранны – оба. Особенно он. Столько граней, что голову можно потерять!

4

Еще через день, прямо из школы Надя пошла на Восточную улицу к Сьяновым. Эта улица, длиной в добрых три километра, была застроена домиками из самана. Их здесь называли землянками. Двойная цепочка желтоватых электрических огней восходила все выше в темноту, на спину громадного холма, который по утрам, искрясь своими необъятными снегами, царил над поселком. Надя долго поднималась на взгорье, присаживалась отдыхать на лавочках, поставленных почти около каждой землянки, и снова шла. Наконец она поднялась на вершину взгорья и здесь нашла глиняный домик, номер 167, до половины врытый в землю и окруженный кольями с колючей проволокой. Она постучала в замороженное, матово освещенное окошко, которое было на уровне ее колен. Где-то за домиком хлопнула дощатая дверь, заскрипел снег, и к Наде вышла худощавая женщина, в фартуке и синем ситцевом платье, с засученными до локтей рукавами.

– Мы и есть Сьяновы, – сказала она. – Пожалуйте, – и повела Надю за дом, за узкий и высокий стог сена. – Вот здесь, не оступитесь. – Она открыла низкую дверь под стогом, и Надя вошла в помещение с теплым и сырым, приятным запахом коровника. В полумраке она увидела пестрый бок и безразличную коровью морду, которая медленно повернулась к ней.

Был слышен звон молочных струй о стенку ведра – корову доили, и Надя не увидела, а почувствовала, что доит Сима Сьянова, ее ученица. И худенькая Сима действительно поднялась из-за коровы.

– Здравствуйте, Надежда Сергеевна! – У нее здесь было другое лицо приветливое лицо хозяйки.

Ее мать открыла вторую дверь, и Надя вошла в жарко натопленную низкую комнату и прежде всего увидела пятерых ребятишек, сидящих за столом. Каждый – с горячей картофелиной в руке. И картошка была такая белая и рассычатая, какой может быть только своя картошка. Пять детских головок повернулись к Наде.

– Здравствуйте, малыши! Пришла проведать, как живете, – сказала она, расстегивая манто, и села на табуретку посреди комнаты.

– Попроведайте, попроведайте, – сказала Сьянова, поднимая на Надю лихорадочные черные глаза. Она не знала, что делать, что говорить. Живем, как люди живут. Вот я только что-то сдала нынче. Не могу ступить. По женским все хожу. Больница-то далеко... Вот теперь наша хозяйка, – она показала на Симу, которая с ведром быстро прошла по комнате.

– Я к вам по одному делу, – сказала Надя, – и вижу, кажется, это все невозможно...

– А что такое? – раздалось из-за простыни, повешенной, как показалось Наде, на стене. Там, оказывается, была дверь в соседнюю комнату. – В чем дело? – спросил, показываясь из-за простыни, пожилой, худощавый и лысеющий мужчина в белой нижней рубаше, на фоне которой особенно рельефно темнели его громадные рабочие руки. – Здравствуйте, – любезно сказал он и стал застегивать воротник сорочки. – Кажется, Надежда... Сергеевна вас звать?

– Я пришла, чтоб попросить – нельзя ли уменьшить для Симы домашнюю нагрузку... Теперь вот вижу...

– Это верно. Дела у нас вон какие. – Мужчина положил руку на русую головку одного из малышей. – Сам я работаю, да еще и свехурочно прихватываю. Хозяйка наша – одно название. Болеет наша хозяйка. Серафима теперь у нас за старшую. Вы дошку-то снимите, давайте я помогу. И пройдемте сюда, здесь будет посветлее.

Он отвернул простыню, и Надя, наклонив голову, прошла в узкую, чисто побеленную комнатку без окон. Ей пришлось зажмуриться, чтобы привыкнуть к свету очень яркой лампы, подвешенной на уровне глаз. Она повернулась и чуть слышно ахнула: перед нею, на узкой кровати, положив ногу на ногу, сидел Лопаткин и ел картошку. Он тоже был в ниж-

ней белой рубашке и показался Наде очень худым. На маленьком столике возле него стояла глиняная миска с очищенной и, должно быть, очень горячей картошкой. На газете – горка серой соли.

Увидев Надю, Лопаткин вздрогнул, и на лице его можно было прочесть очень многое: и то, что ему неловко сидеть перед нею в нижней рубашке и есть картошку, макая ее в серую соль, насыпанную на обрывок газеты, да и картошку, должно быть, не свою. И то можно было еще прочесть, что он и сам хорошо видит все ее мысли. Но он только чуть заметно вздрогнул. Привстал, поклонился Наде и при этом обмакнул картофелину в соль.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал Сьянов, и Надя послушно села на стул. – Это вот наш постоянный квартирант, Дмитрий Алексеевич. По-моему, вы должны быть знакомы.

– Мы знакомы, – подтвердил Лопаткин спокойно, разламывая картофелину.

Надя огляделась и увидела за столом чертежную доску, поставленную к стене. На ней был приколот лист ватмана с контурами непонятной машины. А над столом, как раз против Нади, висела фотография размером в открытку. С этой карточки на Надю смотрела девушка, совсем юная, с полуоткрытыми, капризными губами. Она была очень похожа на Римму Ганичеву, только глаза были не так далеко раздвинуты и не было в них того угрожающего выражения. «Жанна», – подумала Надя и с любопытством посмотрела на Лопаткина.

Сьянов стоял около Нади, хмурился и чесал худую, небритую щеку. От него сильно пахло табаком-самосадом.

– Да что же мы! – спохватился он вдруг. – Не хотите ли покушать нашей картошечки? Хороша она нынче... прямо сияет! Агаша, дай тарелочку...

– А я и так, – сказала Надя, беря из миски горячую белую картофелину, посеребренную блестками крахмала. И призналась себе, что ждала этого приглашения.

– Ну вот, так еще лучше. За картошечкой и потолкуем. Разрешите, и я здесь присяду? – Он сел около Нади на сосновый чурбак, взял картофелину и собрался было обмакнуть в соль, но спохватился: – Сима, дай, милая, ножик!

Наступило молчание.

– Так вот, товарищ... Надежда Сергеевна вас, кажется? – заговорил Сьянов. – Вы захватили всю нашу семью, можно сказать, в сборе. Всю нашу артель, – он взглянул мельком на Лопаткина.

– Да, я теперь вижу... – начала было Надя.

Но Лопаткин, любясь картофелиной, буркнул:

– Симу освободим.

И опять все замолчали. Лопаткин спокойно съел картофелину и взял другую.

– Это ваша работа? – спросила Надя и показала на чертежную доску.

– Моя, – просто ответил он.

Надя тоже съела свою картофелину, взяла новую и, дуя на нее, несколько раз взглянула на Лопаткина. Ворот его сорочки был расстегнут, там виднелась мощная ключица. Лицо его было спокойно, словно он сидел в комнате один и отдыхал после тяжелого труда. Тусклые, длинные волосы его лежали как-то мертво, словно устали. Один раз он взглянул на Надю добрыми серыми глазами, и она почувствовала на миг, как в ней проснулось что-то теплое, девичье, то, с чем она когда-то боролась. Но он отвел взгляд и так же мягко посмотрел на картошку. Чтобы поддержать беседу, Надя обратилась к нему еще раз.

– Простите меня... – она бросила на него заискивающий взгляд и, тут же покраснев, оборвала себя. – Я вот что хотела спросить. Если не трудно, скажите мне, в чем состоит ваше изобретение.

– Изобретения никакого нет, – ответил он. – Я вам серьезно говорю, нет.

– Погоди, Дмитрий Алексеевич, – вмешался Сьянов. – Ты испугаешь Надежду Сергеевну эдак-то. Видите, как бы вам сказать, здесь и изобретение и вроде как нет его. Но, в общем, вещь полезная и имеющая перспективу. Это касательно будущего.

– Я сейчас все расскажу. – Лопаткин отодвинул миску с картошкой. Разрешите закурить? Мы с дядей Петром только по одной.

Он запустил большую худую руку в карман своего кителя, висевшего на стене. Выгреб оттуда горсть самосада. Надя невольно залюбовалась угловатой мощью его рук и плеч, мужской красотой, которая начала уже сдавать под напором безумного дневного и ночного труда над чертежной доской.

Свернув сигарку, Лопаткин зажег спичку и жадно затянулся, закрыв глаза. Еще и еще раз.

– Я вам все скажу. Надежда Сергеевна. Я вас уважал всегда. Я вас понимаю и вам могу все сказать. Вы поймете. И к тому же мне не хочется, чтобы вы разделяли общий взгляд на меня как на маньяка.

Он опять затянулся, едко поморщился и, быстрым нервным движением сбив пепел с сигарки, продолжал:

– История длинная. Но, я надеюсь, мне удастся изложить ее коротко. До тридцать седьмого года я работал на автозаводе. Эта предистория нужна, чтобы вы поняли все происходящее со мной. Я работал в группе главного механика. Был весьма квалифицированным слесарем. Мы обслуживали главный конвейер – работа самая разнообразная. У меня знакомый был, тоже слесарь, который работал на одном из постов этого конвейера. Звали его Иван Зотыч. Этот Иван Зотыч брал шесть гаек для одного колеса машины и шесть для другого. На шпильки это колесо устанавливал другой рабочий, а Иван Зотыч только гайки. Подойдет к нему машина – он сразу ставит гайки на место. Тут же висит электрический гайковерт, и он все гайки этим гайковертом мгновенно завинчивает. Аккуратный, трезвый рабочий. Всегда приходил к семи тридцати. И, глядя на него, я понял существо и мощь современного разделения труда. Оно должно быть доведено до такого предела, когда на вспомогательные действия, обдумывание и все прочее, остается минимум времени.

– Простите, – перебила Надя краснея, – вы лишаете рабочего мысли. Так человек думать перестанет. Мы ведем к стиранию граней, а вы...

Лопаткин пристально посмотрел на нее и, отведя глаза, чуть заметно улыбнулся.

– Надежда Сергеевна, вы раньше не говорили таких слов. Я с удовлетворением констатирую, что вы сделали успехи в некоторых областях знания. Нельзя не отметить плодотворного влияния некоей твердой руки.

Надя еще гуще покраснела.

– Я продолжаю, – спокойно сказал Лопаткин. – Разделение труда должно дать нам такие простые операции, чтобы их мог выполнять любой человек, не имеющий специальной подготовки. Это нам даст максимальную производительность труда. А рабочий, о котором вы проявили заботу, почему же? – пусть мыслит! Не над тем, куда он положил вчера молоток, а творчески, – например, о полной отмене ручного труда и переходе к сплошной автоматике. Пусть изучает высшие тайны своего дела. Пусть становится ученым. При таком положении мы действительно сотрем грань. А если будем думать о пропавшем молотке, мы ее никогда не сотрем. Скажите, противоречит что-нибудь в этой мысли здравому рассудку?

– Нет. Я с вами согласна.

– Очень хорошо. Значит, можно идти дальше. Слесарь Дмитрий Лопаткин в свое время окончил физико-математический факультет, а когда его ранили на войне, приехал в Музгу Преподавателем физики. Он повел свой класс на экскурсию в литейный цех комбината и вдруг увидел здесь производство канализационных труб, которые являются многотиражным видом продукции. Еще более массовым, чем автомобили. А здесь это производство было

таким, как во времена Демидова: делают земляную форму и заливают в нее чугун из ручного ковша. Все ясно, Надежда Сергеевна! Я беру опыт автомобильной промышленности и переношу его на производство труб. Это сделал бы на моем месте любой человек, видевший конвейер, тот же Иван Зотыч. Если, конечно, его заденет за живое подобная картина отсталости. Вот я конструирую, как могу, литейную машину и все в ней подчиняю правильным законам. Закону максимального использования машинного времени – это значит, что рабочий орган машины все время производит трубы, без простоев. И закону экономии производственной площади. Извините, я не слишком сухо говорю? У меня уже вырабатывается профессионализм.

– Ничего, ничего. Я вас очень хорошо понимаю.

– И вот я сконструировал машину и подал чертежи в брыз – в бюро изобретательства. Думаю, правда – не может быть, чтоб такую простую вещь там, в институтах, не понимали. Но все-таки подал – на всякий случай... Через восемь месяцев получаю вот это.

Лопаткин быстро наклонился, выдвинул из-под кровати фанерный ящик, полный связок с бумагами. Раскрыл одну из папок и протянул Наде документ зеленовато-голубого цвета, отпечатанный на плотной глянцевой бумаге, прошитый шелковым шнуром, с красной печатью.

– Вы можете убедиться... – Тут Надя заметила, что у Лопаткина дрожат пальцы. – Можете убедиться, Надежда Сергеевна, что изобретение сделано, оценено, признано полезным и оригинальным. Только не переоцените эту бумажку. Хотя это и красиво, но это бумажка. И ценить ее нужно только по себестоимости. С вашего разрешения, я закурю еще раз...

Сьянов с сочувствующей поспешностью подал ему клочок газеты. Дмитрий Алексеевич в молчании оторвал уголок, быстро свернул сигарку, криво поджег ее и, задув пламя, дважды глубоко затянулся.

– На чем же мы?.. Да, вот. Я получил эту бумажку и каждый день, ложась спать и ото сна восстав, люблюсь ею. И волнуясь. Почувствовал, что полезен! Сказали мне, что машина нужна! И так несколько месяцев. Но разве для того я голову ломал? И я начинаю писать кляузы. Одну, вторую, третью... Через полгода – о, радость! – вызывают в Москву. «Срочно увольняйтесь, будете проектировать вашу машину в таком-то проектном институте». Вы представляете, какая радость? Мы тут танцевали с дядей Петром – землянку чуть не разломали. Я бросаю свою физику, вы это помните. Еду. Обиваю два месяца министерские пороги. Два месяца получаю зарплату и никакого проектирования не вижу. На третий месяц вызывает меня замминистра, некто Шутиков, и ласково говорит: «Ничего не можем. Урезаны финансы. Не в наших руках. Может быть, что-нибудь в следующем году...» Слышите? – Может быть! "И пошли они, солнцем палимы, повторяя: «Суди его бог!» Вот так, Надежда Сергеевна! И стал я постоянным жильцом дяди Петра.

– Почему же вы опять не поступили на работу?

– Прошу простить. Давайте по Асмусу – последовательно. Что же оказалось? Оказалось, что мою машину послали на отзыв профессору Авдиеву. Есть в Москве такая великая личность. И этот профессор ее забраковал. Не вдаваясь в доказательства, он заявил: «Получить трубу в машине без длинного желоба нельзя». Он знаменит, слова свои ценит, бережет. «Безжелобная заливка – фикция» и точка. А раз фикция – министр и отказал в реализации. Ведь Авдиев – авторитет! Он руководит кафедрой литья! О нем пишут: «Авдиев и другие советские исследователи!» Это Колумб!

– Послу-ушайте! – покраснев, перебила его Надя. – Дмитрий Алексеевич! Я даже... мне неловко. Профессор Авдиев – это же действительно большой ученый!..

– Ну, и еще одно: этот ученый незадолго до того, как я получил свидетельство, – пока я вел переписку, – заявил собственную машину для отливки труб.

– Вы хотите сказать, что он у вас... – сухо вато проговорила Надя.

– Ничего подобного! У него конструкция собственная. И в высшей степени оригинальная. – Дмитрий Алексеевич докурил сигарку, потянулся было за газетой, но остановил себя. – Хватит. На сегодня я выкурил норму. Ничего я не хочу сказать. Вы спрашиваете, почему я не поступил на работу. Не поступил потому, что я должен был ежедневно писать, доказывать, что Колумб не прав. Вот вы опять улыбаетесь. Вам сказали, что Авдиев непогрешим, и вы теперь улыбаетесь. Вы отдали Авдиеву свою улыбку, он ею управляет.

Он сказал это, и Надежда Сергеевна, не успев возмутиться, почувствовала, что лицо ее вышло из повиновения. «Глупейшее выражение!» подумала она растерянно.

– А я заявляю, что отливать трубы без желоба не только можно, а нужно! – не глядя на нее, упрямо продолжал Лопаткин. – И мне приходится все это доказывать – вот почему я не могу поступить на работу. И, кроме того, я разрабатываю новый вариант, а это – тысяча четыреста деталей и двенадцать тысяч размеров, увязанных между собой. Конечно, одному это все сделать трудно. Это может сделать конструкторская группа или такой сумасшедший, как я. Да вот еще помогает мне дядя Петр. Он тоже немножко с ума сошел.

– И что, вы даже хлебных карточек не получаете?

– Без хлебных карточек мы как-нибудь не похудеем, – сказал Сьянов за спиной у Надежды Сергеевны. – Нам бы Другую карточку – на ватман.

– Не понимаю, – Надя пожала плечами, – вы могли бы обратиться в управление комбината.

Сказав это, Надя почувствовала странную тишину. Дмитрий Алексеевич посмотрел на Сьянова, и они обменялись чуть заметной усмешкой.

– Вот что я вам скажу, Надежда Сергеевна, – Сьянов, налегая на стол, придвинулся вперед. – Мы тоже многого не понимали с Дмитрием Алексеевичем. А когда петух жареный, попросту говоря, извините меня, в задницу клюнул, научились понимать. И не только понимать – и делать научились. Мы, конечно, когда не понимали, толкнулись к товарищу Дроздову за ватманом. По простоте. Он, конечно, отказал. И прав: нельзя государственный ватман на всякое непредусмотренное баловство тратить. Дал, правда, поначалу два листа – как на стенгазету. И точка. А мы все-таки без ватмана не живем.

– И тушь у нас китайская! – сказал Лопаткин с неожиданной улыбкой.

– Без ватмана не живем, – продолжал Сьянов задумчиво. – И даже надеемся, что наша возьмет. Правда, никто нам не верит... Люди программой заняты...

– Надо голову иметь на плечах, чтоб понимала, да сердце хоть какое в грудях, тогда и верить можно! – зло сказала вдруг жена Сьянова в соседней комнате.

– Это ты не про нас, Агафья Тимофеевна?

– Сам знаешь, про кого! Сидите уж, Аники. Слово боитесь проронить. А я вот вам скажу напрямки, – Сьянова влетела в комнату, болезненно сияя черными глазами, размахнулась белой, обнаженной по локоть рукой, взялась под бок. – Если государство и Академия наук признали, каждый обязан помогать как может. Ежели он сознательный. Как Петр вот помогает, – она резко кивнула на Сьянова. Умолкла и долго смотрела на Надежду Сергеевну, постепенно успокаиваясь. Потом вышла из комнаты и там, за простыней, грохнула кастрюлей, закричала на ребятишек: – А ну, спать, оглашенные!

– Она у нас боевая, – добродушно сказал Сьянов.

Домой Надя шла не одна. Лопаткин, почти невидимый в темноте, мерно шагал рядом, подняв воротник своего демисезонного пальто, спрятав руки в карманы. Он был задумчив, и Наде все время казалось, что она чувствует его мысли. Он словно наливался в эту минуту железом, – должно быть, думал о большой тяжелой дороге, по которой ему еще долго придется идти со своим изобретением. «Нет, здесь никакого не сумасшествия, – думала Надя. – Это то самое, что я когда-то угадывала в нем. Огромная твердость. Она дремала раньше без

применения, смотрела спокойно из глаз, как новое, чистое оружие. А теперь это голубое свидетельство с ленточкой заставило тихого человека обнажить свою сталь. Конечно, здесь и Авдиев виноват. Хоть и знаменитость, а сказать обязан вразумительно. Такому человеку, как Лопаткин, надо серьезно доказывать, иначе он не отступится... Дело не так уж просто». На углу Восточной улицы и проспекта Сталина они остановились.

– Теперь вы дойдете. До свидания, – кратко сказал Лопаткин. Повернулся и исчез во тьме, захрустел сухим, колючим снегом.

Придя домой, Надя долго сидела в одиночестве за большим обеденным столом. И при этом не сводила пристального взора с блестящей точки на никелированной сахарнице. Она ждала мужа – у нее сегодня было припасено много новых вопросов к Леониду Ивановичу. Шура появлялась и неслышно уходила, подавая и унося сливки, домашнее печенье, соленые огурчики и капусту, до которых молодая хозяйка в последнее время стала большой охотницей.

Затем Надя перешла в свою комнату и, не зажигая верхнего света, в полумраке, целый час играла этюды Шопена, начиная и бросая играть где попало, повторяя некоторые, особенно грустные, задумчивые места. Муж не приходил. В гостиной прокаркали часы – одиннадцать раз. Эти часы Леонид Иванович прозвал вальдшнепом за их особенный голос. Вспомнив об этом, Надя улыбнулась. В эту минуту сильно зазвонил в коридоре телефон. Она поспешила к нему, сняла трубку и услышала сонный голос Леонида Ивановича:

– Надя? Я не приду сегодня. Да так вот, свистит аппарат. Если что позвони мне в цех. Ну как здоровье? Ничего, говоришь? Не врешь? Ну, так ложись сейчас же спать. Спокойной ночи.

Надя вздохнула и с грустным видом побрела в спальню. «Вот и ответ на все вопросы, – подумала она. – Да разве может он разорваться, чтоб все были довольны!» В последнее время Леонид Иванович часто оставался на работе до утра, а если приходил раньше, то сразу же падал в постель, отмахиваясь от еды, и во сне сдавленно стонал. «Сердце надо иметь в грудях», – мысленно передразнила Надя Агафью Сьянову и усмехнулась, как бы защищая мужа. Тут какое сердце не выдержит. Расхныкались! Вы попробуйте вот так по пять ночей.

Она легла на свое место на квадратной деревянной кровати и долго не могла заснуть, тревожно вздыхала, внимая то частым, то сильным, то еле ощутимым, толчкам ребенка, который уже начал в ней свою отдельную жизнь, уже был таинственным самим собой.

Утром, открыв глаза, она увидела на соседней подушке голову мужа. Леонид Иванович спал, крепко зажмурясь, припав к подушке, как ребенок к материнской груди. Только у ребенка этого был серый, седой висок и усталое, желтое лицо с высоким лбом.

Надя оделась и вышла, неслышно прикрыв за собой дверь. Она пила в столовой чай, и вальдшнеп прокаркал уже одиннадцать часов, когда Леонид Иванович в домашних туфлях на босу ногу, в галифе и подтяжках, улыбающийся и свежий после умывания, вошел к ней.

– Налей-ка мне покрепче, – сказал он, садясь возле Нади.

– Я тебе уже говорила, – она взглянула на него серыми печальными глазами. – Ну зачем ты так надрываешься? Неужели это нужно?

– Финиш, Надя. Финиш... Финишируем!

– Не понимаю...

– Надо дать перед отъездом такой удар, чтоб Ганичев никогда до меня не дотянулся. Это будет прощальный свисток Дроздова!

– Зачем ты это говоришь? – в глазах Нади засверкали слезы. – Ты же лучше, чем то, за что выдаешь себя!

– Я то, что я есть.

Леонид Иванович встал и подошел к трюмо, поставленному между двумя окнами. Посмотрел на себя исподлобья, словно собираясь боднуть, потрогал виски и, подняв голову, заложив руку за пояс брюк, сказал:

– Вот он я. Стою перед с-самим собой. Сейчас буду дополнять свой портрет описанием внутренней сущности, – он закрыл глаза и медленно открыл их. – Я вижу в этом человеке очень много недостатков. Пережитков прошлого. Это человек переходного периода. Есть в нем остаточек того, что раньше называлось «честолюбие». И я не понимаю, как можно жить без него! Но человек будущего поймет. Я хочу работать лучше, чем Ганичев! И хочу, чтобы люди о моей работе были только хорошего мнения. Всегда с перевыполнением это мое больное место. Еще радуюсь повышению и заслуженным наградам. Они суть свидетельства моих качеств. И в Москву еду с радостью. И знаю, что я там буду на месте. И еще много во мне есть слабостей – потому что жизнь люблю! Куда ни ткни – везде живое, нежное, чувствительное. Поэтому мне нужен панцирь, как улитке. Этот панцирь – твердая воля, которая в человеке есть положительное качество. Она его обуздывает. И я себя держу в рамках. Конечно, я никому не скажу, что я хочу дать боевой прощальный салют. Только жене дозволено знать такие вещи. Как видишь, я еще молод и не чужд человеческих страстей. В коммунизм мне, конечно, нет хода. Я весь оброс. На мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я – на высоте. Таково место этого человека в жизни.

Взглянув на себя еще раз, Леонид Иванович медленно вернулся к столу и, высоко поднимая брови, стал громко прихлебывать чай с ложечки.

– Или ты хочешь, чтобы я по-христиански? – спросил он и вдруг улыбнулся Наде, как ребенку. – А? Может, хочешь, чтобы я свою работу заваливал, получал выговора? Не-ет. Пусть это делает какой-нибудь рыцарь... Дон Карлос.

– Нет, зачем же... – Его рассуждения опять сбили Надю с толку. – Ты можешь работать просто. У тебя есть план и долг...

– Просто работать нельзя, – Леонид Иванович закрыл глаза. Он уверенно отвечал на все вопросы Нади. – Просто так никто не работает. Всегда примешивается личный момент, не поддающийся никакому фиксированию.

И на этот раз муж как будто разъяснил Наде все. Она не могла больше ни о чем спрашивать Леонида Ивановича – не было вопросов. Но когда после чая она шла в свою комнату, брови ее были сдвинуты. Она силилась вспомнить еще один, решающий вопрос, но память наглухо закрыла его.

5

Вот над чем Надя думала все последующие дни. Она попала в странное положение. Ей нужно было обязательно, во что бы то ни стало, отыскать довод в защиту того человека, чью власть она мирно и даже с восхищением признавала вначале. В домике Сьяновых она узнала много нового, и Леонид Иванович, легко отвечая на тревожные вопросы Нади, все же не успокоил ее. Лучше бы вовсе не отвечал – она уже почти нашла ответ: муж ночами занят на работе, не жалеет себя, как всякий творческий человек, не спит, устал, за всем ему не усмотреть.

Лучше бы он вовсе не отвечал!

Она ждала нужного, точного ответа. В школе, встречаясь с разными людьми, она неумеренно хвалила или жалела мужа, ожидая сочувствия от собеседника. Но люди сразу замечали ложь в ее словах, смотрели на нее с интересом: чем же вызваны эти неожиданные восторги? Она поссорилась с Валентиной Павловной, которая с усмешкой сказала ей: «Не думаю, чтобы Дроздов так уж уставал». Правда, подруги вскоре и помирились. Но ни ссора с Валентиной Павловной, ни примирение не прояснили Надиного горизонта.

А затем произошло нечто совсем неожиданное и нелепое.

В конце января, как всегда, Надя пришла в школу, поднялась в учительскую и увидела знакомую, до мелочей, картину. Каждая учительница сидела на своем месте.

Надя, как всегда, под села на диван к Валентине Павловне. И только лишь она собралась заговорить с ней на их постоянную тему – о чистой любви, как секретарша, сидевшая в глубине учительской, за столиком, сообщила торжествующим голосом:

– Граждане, знаете, кто к нам сегодня должен прийти? Дмитрий Алексеевич Лопаткин! У него какие-то сдвиги наметились, и он придет за справкой.

Это сообщение по-разному подействовало на учителей. Старушка Агния Тимофеевна просветлела, закивала удовлетворенно. Молодые учительницы младших классов смешливо переглянулись – слово «изобретатель» звучало для них странно и к тому же они знали, что Лопаткин – чудака: ни за кем не ухаживает и не бывает на танцах.

А Надя вдруг громко заговорила:

– Бедняга, я у него была недавно. Чувствуется все-таки, что он неудачник и основательно надломлен. Знаете, как всегда в этих случаях все неправы, а он прав. Очень тяжелое впечатление. Со всех сторон на него нападки – и ученые и чиновники...

Что толкнуло ее на эти слова? Должно быть, то же самое, что привело раньше к ссоре с Валентиной Павловной. Надя говорила громко и неискренне и ждала, что ее вот-вот перебьют и скажут что-нибудь хорошее о Лопаткине, и тогда разрешатся все сомнения. И ребенок особенно часто постукивал у нее в животе.

Но никто не сказал ни слова. Даже наоборот, наступила тишина. Все слушали.

– Понимаете, меня удивило и даже заинтересовало это: живет этот наш Леонардо да Винчи у рабочего, отца девочки из седьмого "Б" Сьяновой. Не получает карточек на хлеб, похудел, курит и чертит с утра до ночи. Тысяча четыреста деталей, вы представьте себе! Двенадцать тысяч размеров! И главное – все впустую, потому что он не специалист.

Она неискренне засмеялась и опять почувствовала сильную тревогу. И на этот раз никто ее не перебил.

– Мне кажется, можно было бы все это сделать без этой трагической обстановки, – продолжала она. – Можно преподавать физику, не отказываясь и от хлеба, и спокойно, главное – спокойно работать над...

Кто-то больно наступил ей на ногу. Она осеклась и увидела красный лоб и искаженное стыдом и злобой лицо Валентины Павловны. У нее сразу же вспотели руки. Она оглянулась

и почувствовала, что бледнеет: в дверях, спокойно выжидая, опустив глаза, стоял Лопаткин. Подождав еще немного и увидев, что Надя кончила свою длинную речь, он четкими шагами прошел к столу секретарши, по пути с улыбкой кивал знакомым учителям.

А Надя привалилась к спинке дивана и глубоко вздыхала, раз за разом, молча протягивая руку к Валентине Павловне. Ей становилось все хуже незнакомая теплота охватила верхнюю часть ее тела, и все громче и громче, наступая на нее, зашумели вокруг невидимые примуса.

– Товарищи, идите на урок! – сказал кто-то над нею. – А вы, Валентина Павловна, врача позовите. Андрея Илларионовича.

Кто-то занес ее ноги на диван. Кто-то в белом халате спросил: «Здесь болит?» – и коснулся ее живота. «Болит», – ответила Надя. Тот же голос спросил: «А здесь болит?» – и чья-то рука коснулась ее поясницы. «Ох, болит, болит! По очереди то тут, то там», – сказала Надя и заплакала со страха. «Дроздов машину выслал», – проговорил кто-то. И через некоторое время Надю положили на носилки, накрыли мягким манто и понесли на улицу, а потом повезли в дроздовском «газике».

В больнице ее осторожно и как-то незаметно переодели, внесли в коридор, тесно уставленный кроватями вдоль обеих стен. Высокий мужчина в белом халате и белой шапочке быстро прошел мимо нее, остановил женщину в халате, шепнул: «До сих пор не освободили? Сейчас же!» – «Полежит со всеми», громко сказала женщина. «Вы что, распоряжений не знаете?» – испуганно и резко зашептал мужчина, схватил ее за рукав и втащил в ближайшую палату.

Вскоре Надю по команде молодой медсестры подняли две санитарки, пронесли по коридору, и она почувствовала направленные на нее со всех сторон взгляды больных. Передняя санитарка ногой открыла дверь, и Надю внесли в палату и переложили на большую кровать, мягко скрипнувшую пружинами. Медсестра, громко командуя санитарками, поправила простыни. Это, надо думать, была старшая сестра. Она оглядела всю палату и ушла, напоследок сказав: «Вот звоночек, если что...» Все затихло. Надя повернула голову, увидела шелковую штору и окно, сквозь которое уже синели зимние сумерки. Дверь открылась, и вошли два врача – высокий мужчина и женщина. Щелкнул выключатель, вспыхнул яркий свет. Врачи вполголоса поговорили у дверей и с озабоченным видом подошли к Наде. Начался осмотр.

– Здесь болит? – громко спросил мужчина, как будто спрашивал глухую.

– Болит. И здесь и здесь, – ответила Надя.

– Ну, пока не будем трогать, – вполголоса сказал он своей спутнице. Можно дать препарат желтого тела. Лучше не внутримышечно, а в таблетках у нас есть? – И, так разговаривая, они медленно пошли к выходу.

– Скажите, это схватки? – спросила Надя со страхом.

– Слабые схватки, – ответил мужчина, – которые могут прекратиться...

– Если вы будете лежать спокойно, – добавила женщина.

Через час, когда совсем стемнело, Наде подали записку: «Надюша, не волнуйтесь, лежите спокойно. Завтра с утра мы вас навестим. Валя».

И широко открыв глаза, глядя в потолок и все время чувствуя глухие, то нарастающие, то совсем слабые боли, она задумалась. «Что же это со мной было? – думала она. – Почему это я вдруг заговорила какими-то чужими словами? Чьи это были слова?» Надя тут же остановила себя: «Хоть себе лгать не надо! Все, что я говорила, – все это было постоянной точкой зрения Леонида». Да, она бессознательно попробовала проверить ее, эту точку зрения. «Почему же я так испугалась? Почему я чувствую себя виноватой перед Дмитрием Алексеевичем?»

Она нажала кнопку звонка, и через несколько секунд дверь палаты мягко открылась и вошла та же самая старшая сестра, туго перетянутая в поясе, молодая, с твердым взглядом начальницы.

– Будьте добры, – робея перед нею, попросила Надя. – Скажите, пожалуйста, во сколько завтра начнут пускать посетителей?

– С девяти утра. К вам можно и раньше.

Утром Надя проснулась оттого, что в палате что-то тихо и настойчиво, шелестело, как мышь. Открыв глаза, Надя улыбнулась. Вчерашние боли утихли, и он время от времени постукивал в животе. Шелест в палате продолжался. Повернув голову, Надя увидела маленькую старушку санитарку, которая протирала пол тряпкой, намотанной на щетку. При этом санитарка успевала заглянуть под кровать, сунуть нос в тумбочку и даже для чего-то открыла один за другим ящики красного столика в углу, низко наклонилась над ними.

Надя с интересом наблюдала за нею. Осмотрев все ящики стола, старушка оглянулась и встретилась глазами с Надей.

– Не бойся. Твоего ничего не трону. Тут одна гребешок свой спрашивает. Вот я и шукаю, где это он запропастился.

– А почему она спрашивает?

– Да их выносили в коридор – торопились! Для тебя палату очищали!

– Почему же это все для меня? – недоверчиво спросила Надя.

– Палата-то не ихняя. Их тут до время держали. Пока кого из начальства подвезут.

– А почему палата не ихняя? – спросила Надя тише.

– Знать, распоряжение такое.

– А почему распоряжение?.. – машинально, совсем тихо спросила Надя.

– Почему да почему! А почему я знаю, почему? «Почему»!

Надя нерешительно нажала кнопку звонка. Потом взглянула на часы и сразу же опустила ноги с кровати. Было без двадцати девять. Сейчас к ней должны были прийти учителя, Валентина Павловна...

– Дайте мне халат скорее! – сказала Надя. Махнула рукой и быстро вышла в коридор – в коротенькой белой, больничной рубашке.

– Что это ты? Иди скорей назад! – услышала она за спиной испуганный шепот старухи.

– Никуда не пойду. Главного врача мне! – приказала она подбежавшей старшей сестре, и та опрометью побежала по коридору между двумя рядами кроватей.

Бледные лица поднимались одно за другим над этими кроватями. Надя стояла около своей палаты, и багровые пятна волнения все гуще выступали на ее лице, заливали лоб, переходили на шею. Она опять почувствовала приливающую к груди, к голове теплоту и, ослабев, села на ближайшую кровать.

– Ты что? – спросила ее бледная женщина с растрепанными волосами, поднимаясь на кровати. – Глупая, чего это ты выскочила?

Надя не ответила. В конце коридора показались две фигуры в белых халатах. Врачи спешили к ней, и первый – высокий мужчина – еще там, вдали, широко развел руками.

– Что же мне делать с вами, Надежда Сергеевна? Зачем? Ваш муж каждую минуту звонит, интересуется здоровьем. Что я ему скажу?

– Я хочу...

– Пойдемте скорей, ляжем в палату, и там я вас выслушаю.

Надя поманила его слабой рукой. Он наклонился, покраснев, подставил ухо.

– Я никуда не пойду... – Надя почувствовала себя очень плохо и закрыла глаза. Сразу зажужжали вокруг примуса. – Никуда не пойду... – шепнула она, – пока не переведете всех на место...

Врач, ничего не понимая, выпрямился.

– Это она хочет, чтобы энтих обратно перевели, – заговорила старушка санитарка. – Энтих, которых давеча вы...

– Ага! Понятно. – Главный врач внимательно посмотрел на Надю, подумал и сделал широкий, решительный знак рукой – из коридора в палату. И сейчас же старшая сестра вместе в двумя санитарками побежали в дальний конец коридора, подняли там кровать вместе с больной женщиной – и потащили в Надину палату.

– Сейчас все будет сделано, – ласково сказал Наде главный врач и поджал губы. – Это наша оплошность. Простите. Может быть, вы перейдете туда, пока мы...

– Вы дадите мне слово, что всех?..

– Господи, какой может быть разговор?.. Пожалуйста, прошу вас.

Врачи подхватили ее под руки и осторожно привели в палату, к кровати. Надя легла. Женщина-врач взяла ее руку и сразу же обернулась к старшей сестре.

– Принесите термометр. – Она посмотрела в глаза главному врачу. Тот ответил ей таким же пристальным взглядом и взял Надину руку.

– Боли есть?

– О-ох... Есть... – чуть слышно шепнула Надя, не открывая глаз.

– Да, похоже, – сказал главный врач, посмотрел на женщину в белом халате и на цыпочках пошел к выходу. Он открыл вторую дверь палаты. Быстрее, быстрее несите! – донесся его резкий голос.

Санитарки внесли еще одну кровать. Надя лежала с закрытыми глазами и вдруг услышала голос старшей сестры:

– Лидка, подвинь-ка первую кровать... Эти жены начальства хуже самих начальников. А теперь эту бери... Никогда не угадаешь, чего им...

Надя широко открыла глаза. И старшая сестра, перехватив ее взгляд, сразу же улыбнулась, наклонилась к ней.

– Ну что, милочка? Как себя чувствуем?..

Сжав губы, Надя отвернулась.

А в дверях уже стояли четыре или пять человек в белых халатах учителя. Впереди – Валентина Павловна. Она подошла к Наде, взяла ее за руку, села на край кровати. В глазах ее стояли слезы. Она ничего не говорила – только пожимала Наде руку.

– Миленькая, – наконец заговорила она. – Милая Надежда Сергеевна. Мы все вас любим! Вот и для вас испытания пришли, бедняжка. Ничего... Надюшенька моя. Теперь лежите, пожалуйста, не расстраивайте нас. Не бегайте в коридор... Вам привет от Дмитрия Алексеевича. Он сам просил передать привет и вот... письмо... Господи, мы вас так хорошо понимаем все.

Появился главный врач и попросил всех посетителей оставить палату в связи с тяжелым состоянием больной. Учителя, кивая и улыбаясь Наде, ушли, и Надя, подождав еще несколько минут, развернула письмо. Оно было короткое – тетрадная страница, исписанная крупными строчками.

"Дорогая Надежда Сергеевна, – писал Лопаткин. – Я хорошо понимаю ваше состояние и спешу Вас уверить – я ни в чем Вас не виню. Вы очень честны и прямы, и верите в людей. Поэтому Вы так быстро подчиняетесь авторитетам. Я ценю в тов. Дроздове незаурядный талант руководителя, хотя у нас, как это часто бывает, есть большие расхождения во взглядах на жизнь. Мне кажется, что и Вы не вполне разделяете его взгляды. Этим и вызвана вся история. Ваша душа, по-моему, не признает компромиссов – начинает

метаться. Это хорошо. Жму Вашу руку и прошу прощения за то, что я стал невольным виновником Ваших страданий.

Д.Лопаткин".

Надя перечитала это письмо несколько раз, а когда около дверей зашаркали шаги мужа, спрятала письмо под подушку.

Леонид Иванович был в белом, длинном – до полу – халате, должно быть, с плеч главного врача. Он остановился в дверях, и тут же Надя услышала женский голос:

– Товарищ Дроздов, состояние Надежды Сергеевны заставляет нас...

Леонид Иванович окинул палату быстрым взглядом, но Надю не заметил. Улыбнулся, подчиняясь медицине, и шагнул назад.

Через два дня утром он опять пришел – на этот раз в маленьком – женском халате. Увидел Надю, сел около нее, взял за руку и, шутливо хмурясь, сказал:

– Ты у меня молодец.

Слушала его Надя спокойно, иногда, закрывая глаза от подступающей боли, смотрела на его желтый, лысеющий лоб, на крепкие белые зубы, стараясь заглянуть в душу этого до сих пор непонятного ей человека. Но видела только умные, ласковые, немного насмешливые, черные глаза. «Что же ты не говоришь своего мнения? – думала она. – Что бы придумать? Что значит эта похвала: молодец?»

– Да-а, – сказал, улыбаясь, Леонид Иванович. – Восстание. – И весело оглянулся по сторонам. Засмеялся, покачал головой. – Навела порядок! Теперь, смотри мне, чтоб выздоровела!

– Ты знаешь, – тихо и слабо заговорила Надя, – я до войны, еще девочкой, лежала в больнице. В Ленинграде... Там не было такого...

– А теперь лежишь в Музге, – ласково ответил он, как бы не уловив ее главную мысль. Помолчал, улыбаясь, подбирая какое-то шутливое слово, и сказал: – Музга, как видишь, относится к тебе лучше!

Нет, он не собирался сегодня беспокоить ее серьезными разговорами. Он решил ее развлечь веселыми новостями.

– Ты знаешь, этого павиана и пьяницу Максютенко от меня забирают! В филиал Проектного института. Я думаю, я ломаю голову – для чего? А его как специалиста по чугунным трубам! Он, значит, авдиевскую машину проектировал, так его теперь и на другую берут. Пошел человек! Впрочем, без меня он быстро пропадет...

– Ты сказал, авдиевскую? – как бы нехотя спросила Надя. – Это ее забраковал приезжий твой, доктор наук? А другая – может, это Лопаткина машина? – И Надя подняла на него спокойные, серые глаза.

– Ты думаешь? Возможно... Они там все вместе с Шутиковым с ума посходили. О трубах только и говорят. Галицкий, правда, мне предсказывал, что авдиевская машина дальше опытного образца не пойдет. Может, там тоже почуяли, спохватились...

– Да... – сказала Надя, и Леонид Иванович опять не заметил особого звучания в ее голосе.

– Ты устала? – спросил он, и глаза его влажно потеплели.

– Нет. – Надя тоже улыбнулась. Но она думала о чем-то постороннем.

– Смотри, не затевай больше ничего. Твое восстание имело, так сказать, лишь частный успех. Завтра, смотришь, привезут сюда мадам Ганичеву, и вся твоя подзащитная публика пойдет в коридор. Это не мною и не тобой учреждено. Это блага, которые на данном этапе распределяются в соответствии с количеством и качеством труда. Уравниловка – вещь вредная. Я вот, например, в больницах не лежу совсем. Должность не позволяет. На ногах болею. Мы если ложимся, то уже не встаем. – Сказав это, Леонид Иванович важно закрыл глаза. Потом приоткрыл один лукавый глаз и засмеялся. – А т-такой человек, как ты, когда болеет,

на него приятно посмотреть. Он должен находиться в особых условиях. Ты ведь у меня особенная. Редкий цветок! А вот когда Ганичева ляжет... Эта баба их заставит побегать!

Так и не заметив ничего нового в голосе и в глазах своей жены, Леонид Иванович попрощался, опять окинул взором палату, ухмыльнулся и ушел. И Надя еще при нем сунула руку под подушку. Проводив его спокойным взглядом до дверей, она достала письмо Лопаткина. «...стал невольным виновником Ваших страданий...» – прочитала она и сразу увидела выпуклые ключицы, широкие, сухие кулаки этого человека, так хорошо скрывающего свои неудачи. Его тусклые, словно больные, волосы, его втянутые щеки и под бровями впадины глаз, наполненные мужественной, прощающей теплотой.

Через две недели она выписалась из больницы. Леонид Иванович узнал об этом по телефону. С работы он пришел, как всегда, поздно и очень удивился, не найдя жены в спальне.

– Она спит у себя, в той комнате, – сказала ему Шура. – Я им раскладушку постелила. Хотела перинку покласть, так не дала. Говорит, доктор не велел.

6

В апреле Надя родила мальчика. Это событие как бы сдвинуло и повернуло по-новому ее характер. Она словно забыла обо всех своих знакомых, встречала и Валентину и мужа одинаково рассеянным, почти чужим взглядом. Зато в своей комнате – вымытой, проветренной, белой от разложенных везде простыней и пеленок – она была другой, но опять-таки не прежней. В наброшенном кое-как халате, непричесанная, она сияла затаенным материнским счастьем. Часами ходила, сидела и опять ходила около спящего ребенка. Пеленала его и при этом целовала и смазывала вазелиновым маслом розовые складки на его тельце, требовала кипятку, чтобы приготовить свежий раствор борной кислоты, – вместо того, который был приготовлен два часа назад. Прочитав в книге, что волосы могут служить убежищем для инфекции, Надя тут же потребовала ножницы. Без сожаления, напевая перед зеркалом, она сама кое-как обрезала свои длинные волосы, а то, что осталось, забрала под белую косынку. И все – с сиянием, со счастливым румянцем.

Леонид Иванович заказал на механическом заводе комбината коляску для сына. Коляска был сделана в три дня – маленький, обтекаемый экипаж, сверкающий никелем и голубой эмалью, – и доставлена в комнату Нади. Двадцатого мая «сама» Дроздова, как говорили о ней в поселке, вывезла коляску на улицу и двинулась по сырой, но уже плотной дорожке на прогулку. Коляска легко катилась перед нею, Надя иногда чуть-чуть подталкивала ее, не отрывая взгляда от полупрозрачного целлулоидного козырька, за которым ей мерещилось личико спящего ребенка.

Надя выкатила коляску на перекресток, затем свернула на длинную и широкую Восточную улицу, похожую больше на ковыльный пустырь, пересеченный столбами и застроенный по краям саманными домиками. Потихоньку двигаясь этой бесконечной улицей, с жадностью дыша холодным весенним воздухом, она узнавала весенние запахи – то запах огородной земли, то запах прелых досок. Пригретая весенним солнцем, Надя как бы заснула с открытыми глазами. Потом она очнулась и увидела, что с той стороны, через улицу, к ней идет улыбающаяся Валентина Павловна. Неумело обхватив, она прижимала к себе рулон ватмана. Этот рулон привлек внимание Нади. О чем-то напомнил, что-то пробудил, и, приветствуя свою подругу, Надя почувствовала, что в ней зреет удивительная, но верная догадка.

– Дайте скорей посмотреть! – Валентина Павловна бросила на руки Наде тяжелый рулон и наклонилась к коляске. – Ах, господи, какое чудо! зашептала она. – Как же мы хорошо спим! И какая же мы кукла! Какие у нас красные щеки!

– Куда же мы идем? – спросила Надя, шутливо подделываясь под ее тон.

– Да чепуха, тут в одно место, – Валентина Павловна махнула рукой. Выпуклый лоб ее слегка покраснел.

– По благотворительным делам? – спокойно и тихо спросила Надя, передавая ей ватман.

– Ну да. – Валентина Павловна еще заметнее покраснела и добавила беспечно: – Вот, достала ему ватман.

– Как у него дела?

– Новый вариант чертит...

Надя замолчала. Догадка – это одно дело, а вот такое прямое признание этого она не ожидала.

– Валя...

Валентина Павловна побагровела.

– Вот вы и попались... да? – шепнула Надя ей на ухо и поцеловала это горячее, розовеющее ушко.

Валентина Павловна не ответила. Они долго шли молча.

– Он не знает об этом... о чем мы говорили? В школе – помните? спросила Надя.

– И не должен знать, – шепнула Валентина Павловна.

– Хотите, я скажу? Или что-нибудь подстрою? А?

– Ничего нельзя делать. Слышите? Я вас очень прошу.

Если он узнает, мне нельзя будет туда ходить.

– Да?..

И они опять обе глубоко задумались.

– Что же, он опять чертит? Какой же это вариант?

– Последний, – гордо сказала Валентина Павловна. – Он получил распоряжение министра. Министр приказал проектировать старый вариант, а Дмитрий Алексеевич заканчивает новый – этот и пойдет.

– Пойдет? Это совершенно точно?

– Я видела сама распоряжение из министерства.

– Неужели он – настоящий?..

– Я в этом не сомневалась никогда, – Валентина Павловна, сощурив глаза, сухо посмотрела вперед на невидимого врага. – Я считаю, что даже тот человек, который когда-то давно первым из всех людей приделал себе птичьи крылья и прыгнул с колокольни – и он тоже «настоящий». Обыватель, конечно, хохотал... Обыватель разрешает таким... летунам существовать, он милостив, – но только при одном условии: чтобы у них не было неудач. Над неудачником он хохочет...

– Вы что хотите сказать? – Надя замедлила шаг. Губы ее искривились, и слезы задрожали в глазах. – Валентина Павловна!..

– Дмитрий Алексеевич не разбился. Крылья у него оказались настоящими. Но если бы вы видели, как у него иногда идет из носа кровь... когда он переволнуется... У этого человека, который был когда-то чемпионом университета по бегу! Милая Наденька, не обижайтесь... Я ведь два года закрываю его, как могу, от насмешек... от недоверия...

– Валентина Павловна!.. Значит, меня он не простил?..

– Вы не так говорите. Не то... Как будто только за себя боитесь. Он, конечно, простил. Конечно! Но ему было тяжело. Если бы вы, Надюша, видели, как он задумывается, когда он один. Как он читал и перечитывал этот приказ! Вы тогда многое поняли бы... Почему я это говорю: я ведь могла не сказать вам, что получен министерский приказ. Или министр мог не издать распоряжения. И крылья, они тоже могли оказаться слабыми – ошибка, скажем, в расчетах. Что же? Вы были бы уверены, что он не настоящий, и смотрели бы на него с превосходством? Ведь вы сейчас вот сказали машинально: неужели он настоящий?.. Я все думаю: кто это научил вас не верить человеку? Откуда это чувство превосходства? Надюша, не лучше ли сначала верить, а потом уже, когда набралось достаточно доказательств, тогда уже не верить!

Поздно вечером, придя с работы, Леонид Иванович услышал за стеной, в комнате Нади, равномерный скрип детской кровати и тихое, монотонное пение Шуры. Он зашел к жене. Надя лежала на диване в мягкой полутьме и глядела вверх, на лампу, завешенную со всех сторон пестрой тканью. Шура поскрипывала кроватью и тихим тоненьким голосом выводила: «Бай-бай, баю-бай, пришел дедушка Бабай. Пришел дедушка Бабай, сказал – Коленку давай!»

Надя, не взглянув на мужа, показала рукой на диван, рядом с собой. И Леонид Иванович послушно сел.

– Ну, что нового? – спросила Надя.

– Ганичев с завтрашнего дня – король на комбинате. Принял дела.

– Телеграмму ты получил?

– Получил. Еду в Москву через неделю. Квартира уже есть. Тебя оставлю пока здесь. Когда там улажу – вызову. Не бойся, у тебя будет провожатый. Доставит тебя.

Он замолчал, прилег на диване, отдыхая. «А мы Колю не дадим. Он у нас пока один...» – тоненько тянула Шура, поскрипывая коляской.

– Да, еще новость! – сказал Леонид Иванович, оживляясь. – Лопаткин! Пробил ведь ход! Мне звонили сегодня из филиала. Требовали Максютенко и заодно Лопаткиным интересовались.

– Я это знаю. Он заканчивает новый вариант...

– Вот как? Новый, говоришь? – Леонид Иванович встал, чтобы пройтись туда-сюда. Он всегда ходил, «колесил» по комнате, если его захватывала какая-нибудь новая мысль. И Надя поймала себя на том, что следит за ним.

– Говоришь, новый? – спросил Леонид Иванович, останавливаясь. Взглянул на кроватку ребенка и сел. – А откуда ты узнала?

– Имею информацию. – Надя чуть заметно улыбнулась. – Скажи мне вот что, – голос у нее был сонный, она смотрела вверх. – Скажи мне... товарищ Дроздов. Ты как – хорошо реагируешь на критику?

– Смотря какая критика! – Леонид Иванович засмеялся.

– Я беспартийная. Но я тебя сейчас буду критиковать, – сказала Надя и замолчала.

– Ну что ж, критикуй! – немного выждав, сказал Леонид Иванович.

– Я думаю, что ты такой критики у себя на заводе не услышишь. Мне интересно, почему у тебя была потребность издеваться над этим изобретателем? В его отсутствие говорить о нем... – не перебивай! говорить всякие вещи. И кому! Мне, человеку из коллектива, где он работал когда-то! Уважаешь ты кого-нибудь из людей, кроме себя?

Во время этой неожиданной тирады Леонид Иванович все время пытался остановить ее. Закрыв глаза, говорил: «Надя... Надя...»

– Надя, послушай, – сказал он, наконец. – Я понял тебя. Слушай: во-первых, я не издевался над Лопаткиным, а излагал свою точку зрения и говорил о ней только тебе, своей жене. Я ее тебе не навязывал. Я знал одного директора, который несколько лет кормил и одевал сумасшедшего изобретателя. Они вместе вечный двигатель конструировали. Этот пример наш министр любит приводить... Вот тебе обстоятельство, которое сыграло свою роль в формировании моей точки зрения...

– Министр? – спросила Надя с усмешкой.

– Нет, не министр. На сегодняшний день мы имеем еще целый ряд новых обстоятельств, которые изменили...

– Ты считаешь, что ответил? – тихо спросила Надя.

Леонид Иванович с тревогой развел руками.

– Ты – помнишь? – назвал его марсианином...

– Надюш... Постой-ка. Разве я спорю с тобой? Возможно, что я проявил здесь слабость, поддался антипатии... Но это был только ответ на его слабость. У всех этих... творцов очень высоко развито самомнение.

– Кто тебе сказал?

– Он всегда со мной держал голову только вот так, – и Леонид Иванович раздраженно поднял голову повыше – так, как никогда ее не держал Лопаткин.

– А как он должен был держать голову перед тобой? Вот так? – Надя согнулась перед мужем, и он поморщился.

– Я н-не верю в существование так называемых возвышенных натур. Рядом с понятием «гений» обязательно существовало понятие «чернь». – Леонид Иванович напал на удачную мысль, вскочил и с довольным видом стал расхаживать по ковру. – Я потомок черни, бедноты. У меня наследственная неприязнь ко всем этим... незаменимым...

Он остановился перед Надей. Она молчала – не могла найти нужных слов, хотя, как и всегда, чувствовала, что он не совсем прав.

– Вот что... – заговорила она наконец. – Вот ты говоришь, что ты потомок черни. Чернь – это не обязательно беднота. Наоборот, бедняк много думает, размышляет над своей судьбой. И даже над человеческими судьбами. И между прочим, – тут Надя улыбнулась, – в процессе этих размышлений именно бедняки иногда приходили к гениальным открытиям! Чернь – это что-то другое – не кажется тебе?

Леонид Иванович ничего не сказал на это.

– Это действительно что-то черное, – задумчиво продолжала Надя. – И страшное. Самое плохое. Оно стремится захватить побольше и все время кривит душой. А когда захватит – сразу разжиреет, и все равно у него будет морда, а не лицо...

Леонид Иванович остро посмотрел на нее, сел и обхватил голову желтыми пальцами.

– А то, что ты назвал «возвышенной натурой», а я говорю «простой честный человек» – лиши его всего, сделай его нищим – он все равно светит людям. Нашел, где искать самонимение! У Лопаткина, который сам ничего не имеет, а думает о том, как помочь дочке твоего слесаря Сьянова? Ах! воскликнула вдруг Надя и, закрыв лицо руками, стала качаться из стороны в сторону. – Ах, господи, что я наделала!

– Что это? Надя! – Леонид Иванович еще заметнее встревожился.

– Ты знаешь, ведь я с ним целый год не здоровалась! Один раз мы сошлись на узкой дорожке – и я голову в сторону отвернула! И он понял, пожалел, пожалел меня! Он тоже сделал вид, что не заметил меня или не узнал!

Леонид Иванович неуверенно засмеялся, положил руку Наде на плечо.

– Вы проявили невоспитанность. Но при чем здесь я?

– Ты совершенно ни при чем? – тихо спросила Надя, и Леонид Иванович опять развел руками.

– Хотя бы не оправдывался, – опять заговорила Надя, взглянув на мужа. Я теперь не знаю, как с ним встречаться. Господи – ватмана лист поскупился дать! Не поскупился, а хуже – поленился пальцем пошевелить! Бумаги клок человеку не дал!

– Милая, это судьба индивидуалиста. Если бы он был в коллективе – ему дали бы ватман. Кто же с ним, с кустарем-одиночкой, считаться будет?..

– Значит, ты прав? – прервала его Надя. – Никто не будет считаться? Совершенно никто? На чем же он чертит?

И Леонид Иванович пожал плечами, ничего не сказав.

– Что я вижу... Во всем нашем разговоре... – сказала Надя тихо и вздохнула. – Есть у людей свойство – думать чувствами. Вот я не знаю человека, не имею перед собой его анкеты и с первого взгляда решаю: он симпатичен! Он приятен! Мне хочется быть в его обществе. Я ему верю. Я угадываю, что ему трудно живется. Замечал ты за собой такое?

– Это ты верно, конечно...

– Так вот, «верно». Мне кажется, что я тебя всегда побеждаю в споре чувств. Хотя ты и доказываешь мне логически, что ты прав. Иногда доказываешь... Да-а... – она задумчиво посмотрела на стену, туда, где висела фотография молодого Дроздова. – Ты был лучше тогда.

– Валяй, валяй, – сказал Дроздов. Быстро поднялся и заходил по ковру.

– Если бы здесь была аудитория, – сказала Надя, – человек на триста, твое красноречие завоевало бы их. Заговорить бы их ты смог, а мне бы ты просто не смотрел в глаза. Только нет ее, аудитории – нет. И ты мне смотришь в глаза. И я вижу, что ты не можешь мне ничего возразить. Скажи-ка мне, Леня, что ты сейчас задумал?

– Когда?

– Сейчас. Пять минут назад. Почему встал и начал ходить, как ты ходишь сейчас?..

– Надя, это же невозможно! Ты прямо прокурор! Да, я думал кое-что... Насчет авт-евской машины...

– А что с нею?..

– Да так... технические неполадки.

– А еще о чем ты подумал? Когда вскочил и зашагал?

– Вот о том. Больше ни о чем.

– Значит, ни о чем? Ну, ладно. Иди спи.

Леонид Иванович поцеловал жену в щеку и, чуть слышно отдуваясь, ушел в спальню.

На следующий день в доме Дроздовых начались сборы в дорогу. Грузовик привез с комбината ящики из хорошо прифургованных белых досок. Мать Леонида Ивановича и Шура сразу же начали укладку посуды. Дня через три, когда все было уложено, паровозик вкатил на складскую территорию комбината пустой товарный вагон. В этот вагон рабочие под наблюдением старухи Дроздовой погрузили все ящики и кое-что из мебели. Вагон закрыли и опечатали пломбой.

Вскоре уехал в Москву Леонид Иванович. Шуру отпустили в деревню, и Надя осталась одна в полупустом доме – со старухой и маленьким сыном. Она уже давно не преподавала в школе и теперь, скучая, стала каждый день заходить в учительскую – на прощанье – и, держа ребенка на коленях, с растерянной улыбкой смотрела, как течет мимо нее прежняя ее трудовая жизнь.

* * *

Через полмесяца и в школе нечего стало смотреть. Экзамены окончились, школа опустела, и даже подруга Нади – Валентина Павловна – уехала с дочкой к родным на Украину. Иногда к Наде приходила Ганичева, и на ее жирном, накрашенном лице Надя читала: «Вы еще здесь?» Ганичева ходила по пустым комнатам и говорила старухе Дроздовой: «Вот здесь я поставлю шифоньер, а здесь трюмо».

В конце июня Надя наконец получила от мужа сначала письмо, где была описана их новая трехкомнатная квартира на Песчаной улице, а затем и телеграмму: «Выезжайте».

Сразу же Ганичев прислал к Наде молодого техника Володю, которому была на этот случай выписана командировка в Москву – в техническое управление министерства. Володя привез билеты в московский вагон и быстро запаковал последние вещи. До отъезда оставалось четыре часа, и Надя, оставив ребенка старухе, вышла прогуляться. Что-то теснило ее грудь, какое-то незнакомое чувство – не испуг и не тоска. Она вышла на улицу, огляделась – и это чувство сильнее сдавило ее. Это же чувство привело ее к школе, и она еще раз открыла школьные двери, прошла по гулкому и необитаемому второму этажу, прошла – и не стало ей легче, только прибавилась тихая боль.

Потом она вышла на Восточную улицу. Ветер гнал по ней облака пыли – с горы вниз. И, закрыв платочком лицо, Надя торопливо зашагала вверх, навстречу пыльным порывам ветра. Она взошла на гору – здесь ветер был жестче, сибирский, степной ветер. Вот и домик номер 167 – днем он был еще беднее, даже мелом не покрашен. Надя перешагнула колючую проволоку, обошла сарайчик, на котором уже не было стога, и открыла дверь. Коровы не было наверное, угнали в стадо. Надя открыла вторую дверь – и сразу увидела пятерых ребят за столом. С ними был чужой дядька, одетый в светло-серое коверкотовое пальто. Он сумел пробраться за стол, к маленькому окну, криво сидел там, вытянув в сторону длинную ногу, держа на колене шляпу, и что-то рисовал ребятам, нахохлившись, свесив на лоб черную прядь и даже как будто рыча. Ребята как по команде повернули к Наде светлорусые головы с сияющими от восторга глазами и открыли на миг лист бумаги на столе. Там незнакомый дядька уже почти кончил рисовать взъерошенного, как метла, волка.

Незнакомец привстал, поклонился Наде, сощурил на нее зоркие глаза. Его худощавое губастое лицо все еще хранило хищно-лукавое, волчье выражение. Надя, опешив, забыла даже поздороваться.

– Ктой-то? – послышался голос Агафьи Сьяновой из второй, меньшей комнатки.

– Это я, – сказала Надя, уже чувствуя, что Лопаткина нет дома. Прощаться пришла.

– Ах, это вы! Что ж, заходите. – Во второй комнате вспыхнула яркая электрическая лампочка. – Заходите смелей, приболела я.

Надя, с опаской взглянув на незнакомца, поскорей прошла туда и увидела Сьянову – на кровати Дмитрия Алексеевича. Она сразу заметила все: нет чертежной доски и, главное – исчез портрет Жанны Ганичевой.

– Где же? – торопливо спросила она и показала рукой, одним движением все: и портрет, и письма, и самого Дмитрия Алексеевича.

– Уехал в область. Картошку мы с ним посадили и – уехал. Дела-то у него, вы слыхали, небось? Ну вот, он туда, в филиал. Проектировать машину будут.

– А сюда он еще приедет?

– Как же. Тут у него все, под кроватью оставленное. Приедет. Должно, осенью или, може, раньше когда.

– Так я ему письмо...

– А сколько туда езды, в филиал? – напомнил о себе незнакомец. У него был медлительный, тягучий басок.

– Полтора суток верных будет, – сказала Сьянова.

– Да-а, – отозвался незнакомец. – Ах, черт, как же это я упустил его...

– Я уезжаю и хочу ему несколько слов, – торопливо зашептала Надя. Бумажечки у вас не найдется?

– Ге-енка! – натужно закричала Агафья, свешиваясь с кровати. – А ну, иди сюда. Открой энтот вон чемодан, тетрадка там. И чернила с ручкой принеси.

Генка принес все, и Надя, подсев к столу, стала быстро писать.

– Значит, вы говорите, все в порядке у него? – в тишине за тонкой стеной нерешительно басил незнакомец. – Вот что... Значит, уехал... Агафья Тимофеевна, а у него не осталось здесь какого-нибудь чертежика? Мне бы посмотреть...

– А на что тебе? Ты что – специально к нему?

– Видите, какая вещь, – протянул незнакомец, показываясь в дверях маленькой комнаты. Он был очень высок, наклонил голову, словно подпирая плечом потолочную балку, посмотрел на Сьянову серьезными черными глазами. – Я из Москвы. Буду испытывать здесь одну машину... Машина того же назначения...

Надя быстро обернулась, подалась, закрывая свое письмо.

– Это вы приезжали к нам зимой?

– Я, – он перевел на нее черные глаза, сдвинул черные толстые брови. Некоторое время оба с интересом молча смотрели друг на друга.

– Значит, эта машина все-таки годится? – спросила наконец Надя.

– А вы у рабочих узнайте. Они народ прямой. Не утаят.

– Ругали, ругали, а все-таки построили?

– Видите ли, – он, вздохнув, задержал на ней какой-то загадочный взгляд. – Насчет этой машины у меня есть своя точка зрения, которую я в этот приезд окончательно уточню. А потому прошу вас повременить с этим разговором. Через месяц, когда все выяснится окончательно, я буду готов...

– Я сегодня уезжаю в Москву.

– Это не беда. Вы и там узнаете. Волна докатится...

– Докатится?

– Может, и не докатится. Все равно. Муж вам скажет. Он заинтересован в этом не меньше моего.

И, словно не замечая краски, залившей лицо Нади, Галицкий повернулся к Сьяновой, выставил палец вверх.

– Мне очень важно ознакомиться с принципом машины товарища Лопаткина. Потому что, допустим, у себя я приду к отрицательному выводу – мне нужно что-то и предлагать.

– Муж скоро придет с работы – поговорите с ним, – сказала Агафья. Може, что и найдется, чертежи какие.

Надя написала письмо, сложила его треугольником, крупно надписала «тов. Лопаткину» и оставила на столе, надписью вниз. Попрощалась с Агафьей, с ребятишками, смело взглянула на Галицкого и, кивнув ему, вышла на улицу. Ветер быстро погнал ее в спину, вниз, к черным дымам комбината.

У ворот ее дома стоял «газик». Володя и старуха ждали ее, одетые в дорогу, сидя на чемоданах. Еще на двух чемоданах сидели супруги Ганичевы пришли прощаться.

Надя набросила на плечи пальто, Ганичева крепко и мокро расцеловала ее, сказав: «Слава богу. А то уж думали, что остаться решила. Передавай привет Москве». Володя ухитрился взять сразу три чемодана. Ганичев – один. Шофер – еще один. Старуха бережно подняла завернутого в зеленое одеяло ребенка, и все отправились к машине. И вот уже Надя едет по знакомой дороге, уезжает навсегда от этих мест, и все уходит назад, без возврата. Она оглянулась и в последний раз увидела дымную завесу, комбинат и над ним желтую ковыльную гору, по которой рассыпались маленькие глиняные домики Восточной улицы. Она еще и еще раз оглянулась на эти домики с тяжелым и неясным сиротливым чувством. Все это медленно поворачивалось у нее за правым плечом и отступало назад, в прошлое, навсегда.

7

Дмитрий Алексеевич Лопаткин принадлежал когда-то к числу людей физически здоровых, очень сильных и потому выделялся среди товарищей прежде всего добродушием. Он никогда не имел врагов, и на совести его не было темных пятен, кроме постоянного чувства вины перед матерью, которая еще до войны угасла в городе Муроме, так и не повидав перед смертью единственного сына. Сын тогда был слишком занят ученьем в университете и работой на заводе, свидание с матерью откладывал с зимы на лето, с лета на осень и даже письма писал не часто, хотя деньги ей посылал. Получив короткое письмо от ее соседей, Дмитрий Алексеевич поехал в Муром. Он посидел в пустой комнате матери, разыскал на кладбище простую могилу с железной табличкой и, прочитав на ней свою фамилию, снял кепку. Он не оплакивал мать, но товарищи заметили, что Дмитрий чуточку притих. И эта вот тишина осталась в нем навсегда.

Войну он начал рядовым солдатом-пехотинцем, но вскоре стал командовать отделением, а в начале сорок второго года получил взвод. В конце этого года он уже был демобилизован. Война оставила на его теле несколько грубо заросших рубцов, словно нанесенных топором.

В армии он научился курить, разговаривать, не двигая при этом руками, терпеливо, молча слушать, быстро принимать решения. И еще в нем выступило одно качество – думать сперва о солдатах, а потом уже о себе. Голодный Ленинградский фронт проявил это качество во многих, а Дмитрий Алексеевич получил свое последнее ранение как раз там, около Ладожского озера. Привез он с войны и орден – Красную Звезду.

Когда Лопаткин пришел в музгинскую десятилетку, ему было двадцать семь лет. И если тогда, при первом знакомстве, в учительской ему давали не больше двадцати пяти, то через три года он стал тянуть далеко за тридцать: сказались те сотни листков и десятки больших ватманских листов, на которых он вычерчивал детали своей машины. Он держал все эти детали в памяти, закрыв глаза, видел их, изменял, соединял вместе и так же в памяти пускал их в ход. И еще больше, чем эти детали и чертежи, действовали на него надежды и разочарования. Их приносила девушка почтальон – в конвертах с черными и цветными штампами министерств, управлений и комитетов. За два года Лопаткин научился вести переписку, подшивать бумаги, читать их тайный смысл, сопоставлять ответы, полученные из разных канцелярий и от разных деятелей. У каждого документа он видел человеческое лицо. В первый раз, когда пришел короткий отзыв профессора Авдиева, с бумаги на Дмитрия Алексеевича глянуло лицо непреклонное и фальшивое. Никто не мог увидеть эту фальшь, только один Дмитрий Алексеевич – ему она была отчетливо видна. Авдиев схитрил: сделал вид, что не нашел в чертежах Лопаткина идеи, разобрал недостатки конструкторского исполнения – то, в чем Дмитрий Алексеевич действительно был слаб. Профессор упирал на то, что машина «сложна и громоздка». Немного позднее был прислан пространственный отзыв кандидата наук Тепикина. Этот сказал, как будто от себя: «машина сложна и громоздка», – и Дмитрий Алексеевич увидел лицо «молодого ученого, разрабатывающего проблемы, поставленные профессором Авдиевым». Через полгода в домик на Восточной улице пришло письмо за подписью заместителя министра Шутикова. Здесь повторялась та же знакомая формула – «машина сложна и громоздка», но лицо у бумаги было иное: благородное лицо чиновника-исполнителя, который списал формулу у Тепикина, обрадовался, что есть основание закончить надоевшее дело и дать бумагу на подпись заместителю министра. В уголке бумаги он поставил и свою фамилию: «исп. Невраев». Этот маленький домовый министерства был как бы стражем у ворот, через которые слово Авдиева вошло в кабинет и стало мудростью высоких лиц.

Дмитрий Алексеевич за эти годы научился с недоверием относиться к тому, что бойко сочинено и красиво напечатано. Но ждать и надеяться он не отучился, и эти-то непрерывные вспышки надежды сделали черты его лица жесткими и упорными чертами страдальца.

Дядя Петр Сьянов – хозяин домика, в котором еще с 1943 года жил Лопаткин, – работал слесарем на механическом заводе комбината. С первых же изобретательских шагов Дмитрия Алексеевича он записался в сочувствующие. Сначала дядя Петр вежливо справлялся о назначении той или другой детали, потом попробовал помочь, но у него ничего не получилось – он плохо представлял себе машину в пространстве. Тогда дядя Петр стал приносить с завода маленькие модельки, сделанные из стали и латуни, и дело пошло значительно быстрее. Сьянов «заболел» машиной Лопаткина. Втайне удивляясь твердости своего квартиранта, он стал потихоньку подкармливать голодного, но самолюбивого изобретателя. Сам приносил ему обед, незаметно ставил на столик и поскорее уходил, словно приручал дикую, ушибленную птицу.

И Дмитрий Алексеевич вошел в его семью. Правда, он тут же мысленно подписал обязательство выполнять в доме и во дворе Сьяновых все работы, связанные с молотком, топором и лопатой. Вскоре он почувствовал, что этого мало, и стал давать уроки, возиться с двоичниками, прививать им интерес к точным наукам, изгонять лень. Клиентура начала расти, и вопрос о деньгах постепенно отошел на второй план.

По утрам, наколов дров и наведя чистоту во дворе, Дмитрий Алексеевич отправлялся на прогулку. В течение часа он быстрым и ровным шагом пересекал весь поселок с горы и в гору и после этого садился за чертежную доску. Иногда во время этих прогулочных рейсов Дмитрий Алексеевич встречал своих бывших учеников. Он останавливался, пожимал им руки, спрашивал, как успехи, – он хорошо помнил всех по фамилиям и именам. А ребята еще не умели скрывать своих чувств, смотрели на него во все глаза. Одни – с уважением, ведь он был изобретателем, а другие – с открытой усмешкой, ведь он был чудачком!

И это еще ничего бы. Но иногда Дмитрию Алексеевичу попадались навстречу взрослые, особенно эта «сама» Дроздова. С тех пор, как Лопаткин вернулся из Москвы, она не здоровалась с ним, проходила мимо с ясным лицом, с приветливым взглядом, обращенным к его пуговицам. Она была счастлива, красива и задумчиво нежна. «Вот такие паразитические цветы с сильным запахом, бледные повилики, зарождаются в какой-то непонятной сфере, чтобы поражать нас, – думал Дмитрий Алексеевич, провожая ее взглядом. – И они нас презируют, и никто не протрет им глаза, не повернет их, потому что они глупы».

– Да, это как раз она, – шептал Дмитрий Алексеевич, проникаясь к ней ненавистью.

Но действовал он совсем не так, как диктовало ему гордое самолюбие. Он предупредительно уступал ей дорогу и даже переходил на другую сторону улицы и при этом делал вид, что занят своими мыслями.

Потом он заметил, что она беременна. У нее появились желтоватые, расплывчатые пятна на лице и медлительная походка. Ей было трудно ходить, она со страхом готовилась к материнству, и Дмитрий Алексеевич сразу же простил ей все. Правда, здесь сказались еще кое-какие обстоятельства, которые постепенно открылись Дмитрию Алексеевичу в последнюю зиму.

В домик Сьяновых часто навещала учительница английского языка Валентина Павловна – смешливая, постоянно краснеющая женщина лет тридцати. Лицо ее было безнадежно испорчено высоким, выпуклым, розовым лбом. Этот недостаток не так был бы заметен, если бы Валентина Павловна могла освободиться от своей привычки краснеть: скажет слово и зардеется. Замолчит – и еще больше покраснеет.

Впрочем, Дмитрию Алексеевичу меньше всего было дела до чьей бы то ни было внешней красоты. Ведь и у той девушки, чей портрет висел у него над столиком, тетя Агаша тоже заметила что-то неприятное во взгляде далеко к вискам отставленных глаз. А Дмитрий

Алексеевич видел в этих глазах другое, что-то вроде сочувствия или ласкового одобрения. Его так и тянуло посмотреть в эти глаза.

С Валентиной Павловной Лопаткин был всегда ровен, старался не замечать ее неловких движений, слов, сказанных невпопад, и краски, то и дело заливавшей ее лицо. Он радовался каждому ее приходу: Валентина Павловна как бы связывала его с окружающей жизнью, была живой и веселой газетой. И еще – она верила в то, что «лопаткинская» машина для отливки труб не простая выдумка. Верила в то, что машина эта победит. А раз вера ее была искренней, значит можно было принимать и ее вклад в нужное дело – рулоны прекрасной ватманской бумаги, которые она где-то доставала.

Валентина Павловна просиживала в комнатке у Дмитрия Алексеевича по несколько часов, а он что-нибудь гудел и чертил новый вариант своей машины или думал над неоконченным чертежом. Она молча следила через его плечо, мимо разросшихся лохматых волос, за уголком широкой русой брови, который то поднимался удивленно, то сердито опускался в зависимости от того, как шли дела. Или вдруг принималась болтать о жизни поселка или о школе.

И вот из-за этой-то болтовни перед Дмитрием Алексеевичем постепенно встало и грустно взглянуло на него другое лицо, «самой» Дроздовой. Оказывается, эта когда-то счастливая комсомолка, дочь простого счетного работника из банка, ошиблась в выборе мужа, попала в плен и слишком поздно начала это понимать.

– Вы знаете, как она сейчас со мной спорит! – рассказывала Валентина Павловна. – Так никто еще не спорил! Выдвинула аргумент – и ждет, чтобы я опровергла! И радуется, если я хорошо, как следует ее разобью. А если замолчу, задумаюсь – злится, наскакивает. Удивительно! Может, здесь еще и ее положение сказывается. Но все равно – такого я еще не встречала.

– Да-а! – гудел Дмитрий Алексеевич, вспоминая недавний визит Надежды Сергеевны к Сьяновым.

Однажды Валентина Павловна пришла к нему утром, молча поставила в угол трубку ватмана и села на табуретку, расстегнув серо-голубое пальто с воротником из фиолетового песка.

Дмитрий Алексеевич растирал в блюдечке тушь. Он взглянул в угол на трубку ватмана и сказал полушутливо, полусерьезно:

– Валентина Павловна, смотрите, я скоро начну вас любить. Вы мне даете больше, чем жизнь.

Валентина Павловна засмеялась, покраснела и спрятала лицо в воротник.

– Я говорю серьезно, – Дмитрий Алексеевич улыбнулся ей. – Для того чтобы просто жить, нужен хлеб. Но как бы я ни был голоден, я всегда променял бы свой хлеб на искру веры. – Он подлил воды и целую минуту молча, сосредоточенно тер черным кусочком по блюдцу. – У нас в госпитале были почти все раненые с Ленинградского фронта. И с некоторыми что-то случилось: наголодались они там, и вот, смотрю, сушат теперь на батарее корки! Высушат – и в подушечную наволочку. И у меня такое есть – только по отношению к людям, которые верят в мое дело! И еще – к ватману. Это я, чтобы вы поняли, Валентина Павловна. Простого «спасибо» здесь мало. Я всегда буду помнить эти дни и буду всегда ждать случая, чтобы доказать своим друзьям...

– Дмитрий Алексеевич, перестаньте! – Валентина Павловна повернула к нему лицо не то счастливое, не то обиженное. – Вы сейчас чуть-чуть меня не обидели. Мне достаточно самого малого – неужели вы думаете, что я не пойму! Верю! – громко крикнула она. – Вы услышали это слово? Вот и хорошо. Ватман вам нужен – вот я и счастлива!

И, спохватившись, вспыхнув, она добавила:

– Я же понимаю, что эта машина нужна государству и что помогать вам долг каждого честного...

И они оба замолчали.

Во время этой беседы Дмитрий Алексеевич быстро и словно нечаянно несколько раз взглянул на нее. Он уже в который раз гнал от себя то и дело выплывающую на свет догадку, которая польстила бы его самолюбию, но была страшна серьезностью и глубиной. Совесть подсказывала ему, что догадку эту нужно остановить, нужно ничего не видеть и не слышать, иначе разрушится короткая и сердечная дружба.

И он громко стучал блюдцем, беспечно покашливая, потом включил радио детскую передачу, – чтобы не замечать чувств, вышедших чуть ли не для открытых действий. Он не смог бы дать ответа на эти чувства. Он не хотел отражать этот приступ и спешил решить дело средствами дипломатии. Надо сказать, что это ему удалось. Валентина Павловна поднялась, словно ее разбудили, и включила радио погромче. Потом, следуя необъяснимому ходу мыслей, она стала смотреть на портрет Жанны Ганичевой, повешенный над столиком.

– Жанна так и не пишет? – спросила она.

И не успел Дмитрий Алексеевич ответить, как на улице послышался женский голос, хлопнула дверь и Агафья Сьянова, войдя с мороза в платке и нагольном полушубке, бросила на столик два письма.

– Принимай, Алексеич, корреспонденцию – забыла вчера передать. Так и ношу в кармане. Силосовать скоро будем письма твои!

Привычной и спокойной рукой Дмитрий Алексеевич разорвал первый конверт со штампом министерства. Мгновенная боль вступила в виски – он прочитал слова: «Не представляется возможным», – и тут же бросил красивую бумажку под стол. На секунду в глазах его появилось выражение усталости, на миг он как бы окостенел и губы его ядовито искривились, но все это сразу же прошло, он поднял с пола бумагу, спокойно перечитал ее, разгладил и, выдвинув ящик, тут же подшил ее в толстую папку, к другим, таким же красивым бумажкам. Бросив папку в ящик, он глубоко вздохнул и посмотрел на портрет Жанны. «Наверно, конца не будет нашей с тобой разлуке», – подумал он, легко проникая сквозь жесткость ее взгляда, отдыхая в тех ласковых глубинах, о существовании которых никто не знал, кроме него. Он уже забыл о том, что в комнатке сидит еще один человек – его постоянная гостья.

– Да, ч-черт, – сказал он, темнея лицом, и протянул руку ко второму конверту.

Это было письмо от нее! Валентина Павловна сразу поняла это и стала прощаться, что-то сказала, засмеялась, жалко хихикнула, словно в пустой комнате, и быстро ушла, даже не застегнув пальто.

Наступила тишина. Дмитрий Алексеевич читал письмо и незаметно для себя начал поглаживать одной рукой волосы, плечо, щеку. Он слышал громкий, словно дикторский голос письма, объявляющий ему о неожиданном разрыве.

«Дмитрий! Я перечитала все твои письма. Везде ты пишешь, что у тебя дела идут на лад, в гору, к лучшему, что машину вот-вот начнут строить, что уже есть „соответствующие“ распоряжения, что академик Н. тебя хвалит, а доктор Н. Н. превозносит до небес. Мне было лестно читать все это, и я даже похвасталась своим подругам. Написала письмо в Музгу! И вот они все отвечают, и оказывается, что ты мне лжешь. Я не буду повторять того, что пишут девочки, но мне не нужен и обман. Я не хочу быть героиней трагедии в стихах. И вообще все так грустно, все получается как-то не так. Напиши-ка мне чистую правду, дай мне возможность решить свою судьбу, как ее решают обыкновенные взрослые люди. Во взглядах на жизнь девочки и взрослой девы есть разница, и это начинаешь с годами понимать. У меня нет сил, я

чувствую, что мне придется уступить моего будущего Эдисона другой, более мужественной женщине...»

Прочитав письмо, Дмитрий Алексеевич озадаченно поскрипел стулом, потом, подняв бровь, взглянул на портрет Жанны и вспылil. Он выхватил из ящика листок бумаги и стал быстро, с громким скрипом писать:

"Что ж, дорогая, я напишу Вам всю правду. Я вижу, что наступает время нам рассчитаться. Должен извиниться перед Вами. Я необдуманно увлек Вас на сомнительный путь подруги изобретателя, не зная при этом, кто я изобретатель или просто чудаk. Я рад, что у Вас вовремя открылись глаза и Вы, таким образом, избегнете опасной участи. Дела у меня сейчас хуже, чем когда-либо, я истратил почти все спички и ни одна не зажглась. Только дымят. А раньше у меня была хоть полная коробка! Но я с той же надеждой, даже с уверенностью смотрю на последнюю спичку. Можете считать и это ложью, только разрешите опять, как и раньше, доложить: скоро я буду праздновать победу! Наши машины будут работать на заводах, и мы с дядей Петром станем любоваться на них и придумывать новые, потому что это дело пришлось нам по вкусу! И вот свою последнюю спичку я сейчас спокойно попробую зажечь. Жаль, конечно, что вместе с нами не будете ждать огня Вы. Но и то – ведь это «скоро» лишь для меня. Я привычный – могу чиркать свою спичку несколько лет. Когда еще она загорится! Стало быть, забудьте все, о чем я с Вами говорил, потому что все это беллетристика, все – риск. Это не для Вас. Помните только физику и математику – но не очень, потому что людей, боящихся риска, эти науки сушат. Желаю Вам быстрого успокоения от всех тревог, причиненных мною. Москва – мастерица лечить неглубокие раны. Будьте здоровы!

Д.Лопаткин"

Заклеив конверт, Дмитрий Алексеевич накинул на плечи пальто и выбежал на улицу без шапки. На столбе скрипел от ветра почтовый ящик. Письмо тупо стукнулось о его железное дно. Дмитрий Алексеевич повернулся к своему дому и увидел ниже, под горой, девушку почтальона. Она спешила к нему, держа в руке большой конверт. И на конверте синел знакомый штамп министерства.

– Привет из Москвы, – сказала она, подавая ему конверт, и, не останавливаясь, пошла на другую сторону улицы.

Промороженный и обсыпанный снегом, Дмитрий Алексеевич влетел в свою комнату и, едко искривив губы, разорвал конверт. Опять красивая бумага! Но что это? «Министерство вторично рассмотрело... Принято решение разработать технический проект... Начальнику филиала дано указание на период разработки... зачислить Вас на работу в Проектно-конструкторское бюро и выделить Вам в помощь необходимое количество конструкторов... Необходимые средства выделены...»

– Черт! – сказал Дмитрий Алексеевич. Бросил бумагу на стол, снова взял и перечитал с начала до конца. – Поневоле сойдешь с ума. Черт его знает что!

Он опять схватил бумагу и посмотрел на подпись. Она была похожа на тонкий и прямой зеленый шов, сделанный швейной машиной. По обеим концам шва висели нитки. Заместитель министра!

Он задумался: а как же быть с письмом к Жанне? И махнул рукой: пусть идет.

– Конечно! Как тут не сойти с ума! – сказал он. Сбросил пальто, улегся на постель и сразу заснул.

Вечером в домике Сьяновых по этому поводу был устроен небольшой праздник. Дядя Петр достал бутылку желтой, как керосин, степной водки. Был сделан отличный для тех времен винегрет – с солеными огурчиками, с капусткой и с картошечкой – и полит настоящим хлопковым маслом. Друзья выпили, закусили и вволю посмеялись над своим счастьем. Они долго считали по пальцам, сколько же раз приходили такие письма и сколько бутылок было распито. И оказалось, что за два года было всего четыре обнадеживающих письма и распито три бутылки. Один раз обошлись без водки.

Дмитрий Алексеевич смеялся по этому поводу громче всех. Но, как и в прежние четыре раза, его к ночи стала трясти лихорадка.

– Ты, брат, не привык к вину, – сказал дядя Петр и внимательно посмотрел ему в глаза. – Лихорадит что-то тебя. Не можешь ты ему сопротивляться.

И, заботливо обняв, уложил Дмитрия Алексеевича в постель. Но дядя Петр ошибся. Это была не лихорадка, а другая болезнь, трудно излечимая и тяжелая. Это была все та же надежда.

К утру она должна была бы отпустить Дмитрия Алексеевича, который еще больше похудел за эти сутки. Но пришло новое письмо из Москвы – копия распоряжения, согласно которому инженер Максютенко откомандировывался в проектно-конструкторское бюро филиала Гипролиты для участия в разработке технического проекта литейной машины системы инженера Лопаткина.

«Ого, ты уже инженер!» – сказал себе Дмитрий Алексеевич.

Потом в дверь постучалась девочка курьер из управления комбината. Она вручила Дмитрию Алексеевичу записку от Дроздова, написанную коричневым карандашом на директорском бланке: «Тов. Лопаткин! Прошу Вас, зайдите ко мне касательно Вашего дела 12:00 часов 27-1-47 г.».

И Дмитрий Алексеевич поспешно стал готовиться к этому визиту. Он осмотрел и почистил свои ботинки и подклеил коллодием заплатки. Затем, пока грелся утюг, он побрился, подстриг ножницами бахрому на рукавах кителя и на брюках и, надев наперсток, «поджил» нитками подстриженные места. Потом опрыснул водой китель и брюки, пропарил их утюгом через полотенце и сделал на брюках отличную складку – сверху донизу.

Приведя свой костюм в порядок, он оделся и вышел. По пути он заглянул в школу и попросил у секретарши справку «с прежнего места работы», которая, конечно, ему пригодится при первом же разговоре в проектно-конструкторском бюро. Справка была тут же написана, но печать оказалась запертой. Эта мелочь и стала первым звеном в той цепи событий, которые привели Надежду Сергеевну в больницу – Лопаткин пообещал зайти за справкой и ушел, чтобы вернуться позднее.

Он спешил на свидание с Дроздовым. Секретарша встала, когда он появился в приемной, но не пошла докладывать, а открыла дверь кабинета, приглашая Лопаткина войти. Его ждали!

Так же, как и в прошлый раз, он прямо пересек ковер и остановился между двумя креслами, перед громадным темно-красным столом, за которым сидел маленький, плешивый и взъерошенный человек, с желтоватым худеньким лицом. Дроздов приветливо смотрел на него черными, живыми глазами. Голова его была спрятана в плечи, и обе руки, соединенные в одном большом кулаке, лежали на зеленом сукне стола.

– Ну, – сказал Леонид Иванович. Поднялся, подал руку Лопаткину, показал на кресло и снова сел, принял ту же, привычную позу, как будто и не поднимался. Он закрыл глаза, помолчал некоторое время, потом хитро открыл один глаз и поднял бровь в сторону Дмитрия Алексеевича. – Поздравить тебя надо? А?

– По-моему, еще рано...

– Ты хочешь сказать... – Дроздов ухмыльнулся и закрыл глаза. – Он хочет сказать, что он скромн! – Тут Леонид Иванович покосился через плечо, и, проследив его взгляд, Лопаткин увидел в глубине кабинета, в кресле, лысоватого человека в офицерском костюме, без погон, того же самого, который сидел у Дроздова в прошлый раз и назвался Самсоновым.

– Мы это знаем, товарищ изобретатель, – продолжал Дроздов, добродушно и лукаво морщась. – Скромн, скромн! А сам уже небось sprysнул это дело! А? И меня не позвал!

– Четвертый раз sprysкиваю, Леонид Иванович. Может, еще столько придется.

– Ну, это у тебя, брат, упадочнические настроения. Достоевщина. Это мы сейчас разведем. Ты вот что скажи мне, товарищ Лопаткин. – Дроздов придвинул к себе настольный календарь и взял из чугунной гетманской шапки остро отточенный карандаш. – Мне сегодня будут звонить из филиала. Максютенку от меня туда забирают. Для участия в разработке технического проекта... литейной машины инженера Лопаткина. Знакома тебе эта фамилия? Он дружелюбно покосился на Дмитрия Алексеевича. – Так ты мне скажи, товарищ инженер, когда ты туда поедешь?

– Поеду вот... Я должен кое-что закончить. Месяца три еще провожусь.

– Три-и? Это меня устраивает. Устроит ли тебя? Он ведь у меня авдиевскую машину двигает! Не боишься?

– Я знаю. Вот и пусть двигает.

– Изобретатель-то... Благороден! – сказал Дроздов Самсонову.

– А через три месяца начнем мою, – спокойно продолжал Дмитрий Алексеевич, – если не передумает этот товарищ замминистра.

– Шутиков? Не-ет, не передумает. Он теперь болеет вашими машинами. Это его любимая тема. Конек! Значит – на май? Так мы и запишем. Вот, собственно, и все...

Дмитрий Алексеевич встал и протянул было руку прощаться, но Дроздов словно не заметил его руки.

– Сядь, посиди, куда торопишься? – Он добродушно засмеялся. – Куда торопится? Не пойму, – сказал он Самсонову, и тот в ответ весело задвигался в кресле и положил ногу на ногу. – Не пойму! – сказал Дроздов, снимая при этом трубку с телефонного аппарата. – Алло! Фабричковского, сказал он в трубку и помрачнел. – Товарищ Фабричковский? Тут к тебе придет изобретатель. Сегодня. Не оstri, кислые щи здесь ни при чем. Я говорю, придет изобретатель. Лопаткин. Так ты мне его одень. Да. От меня. Ты меркантильные эти разговоры... Что у нас, разве нет денег? Мы не так уж бедны. Комбинат может как-нибудь одеть одного инженера? Нет, ты скажи, может? Так вот – одень. Одень. Одень мне его. Одень. Как министр чтоб ходил. Как у тебя, такой костюм сделай. Или свой отдай... пузо, хе-хе, ушей и отдай. Ну вот, слышу речи не мальчика, а мужа. Ну-ну...

Бросив трубку на рычаг аппарата, Леонид Иванович весело хлопнул рукой по столу.

– Спустишься вниз и направо – там наше снабженческое пекло. Спросишь Фабричковского. Они тебя сразу схватят, и не успеешь моргнуть, как будешь одет по новейшей фабричковой моде. Ну, желаю тебе... – Леонид Иванович встал и крепко пожал Лопаткину руку. – Давай делай машину, двигай технику вперед. Нас не забывай. Заходи, если что. Поможем.

Лопаткин поблагодарил Леонида Ивановича, поклонился Самсонову, и тот в ответ снял ногу с колена. Дмитрий Алексеевич быстро вышел, поклонился на ходу секретарше, сбегал по лестнице вниз. Оделся, распахнул зеркальную дверь и очутился на притоптанном снегу. Здесь он на секунду остановился, посмотрел на свое пальто, на брюки, поморщился, подумал и широко зашагал к своей Восточной улице. Почему же он не зашел к Фабричковскому, не принял от Дроздова его богатый подарок? Ведь принимал он ватман и тушь от Валентины Павловны! Очень просто: Валентина Павловна верила в его дело, а этот... у этого совсем другие были глаза. Даже сейчас!

Вспомнив о справке, он забежал в школу и появился в дверях учительской как раз, когда Надежда Сергеевна начала свою громкую речь о несчастном музгинском Леонардо. Прежде всего Дмитрий Алексеевич заметил, что слова ее звучат в тишине странно громко, как в пустом зале: учителя узнали Лопаткина и замерли от неожиданности. Потом он увидел лицо Надежды Сергеевны, ее глаза, ищущие поддержки. Она словно убивала себя чужими словами, чужой усмешкой, чужими нотками в голосе. Дмитрий Алексеевич хотел было шагнуть назад, скрыться, но в это же мгновение она остановила на нем темный взгляд, негромко вскрикнула и умолкла, быстро бледнея.

Этой минуты он не мог забыть ни назавтра, ни через месяц. Помнил он о ней и в тот последний день мая, когда, закончив свой новый вариант, с трудом разогнув спину, счастливый, пошел прогуляться по Восточной улице.

Уже внизу, недалеко от управления комбината, мимо Дмитрия Алексеевича пролетел «газик» защитного цвета. Пролетел и, резко затормозив, стал. Открылась дверца, Дроздов поставил на землю ногу в блестящем сапоге.

– Привет изобретателю! – сказал он, весело и пристально глядя на Лопаткина.

Дмитрий Алексеевич подошел, пожал маленькую, желтоватую руку директора.

– Все еще не уехал? – спросил Леонид Иванович, все так же пристально рассматривая его лицо.

– Скоро отправлюсь, все уже готово.

– Ну, ну. Что же костюм-то? Фабричковский тебя ждал...

– Я занят был, Леонид Иванович. Секунды считал. Наше счастье, оно, знаете...

– Ну да, ловил, значит, на корню...

Леонид Иванович прекрасно понимал, что это всего лишь вежливая форма отказа. Понял он и то, что сделал ошибку, предложив Лопаткину костюм. И чтоб не уронить своего престижа, внутренне раздосадованный, он сказал шутливо:

– Понимаю! Ваш брат далек от мира сего. Чужды вам радости, чужды страдания! Ну-ну...

И, пожав руку Лопаткину, он подвинулся к шоферу и захлопнул дверцу. На какую-то секунду, сквозь целлулоидное окошечко Дмитрий Алексеевич увидел его глаза. Да, похоже, что Леонид Иванович сделал опыт, который не удался: он хотел, на всякий случай, подружиться с изобретателем. И теперь морщился, испытующе смотрел на этого непонятного чудака, на эту «возвышенную натуру». И «натура» отвечала ему таким же взглядом изучающим и недоверчивым.

8

В середине июня, в ясный полдень, Дмитрий Алексеевич неторопливо шел по деревянному тротуару, вдоль широкой улицы областного города, запущенной и веселой от обилия веселой молодой зелени. Это была Шестая сибирская улица. Вся она поросла яркой травой и на траве, то тут, то там отчетливо белели козы. Искривленные ветром громадные тополя уже лопотали, мельтешили своими листками. Дмитрий Алексеевич вдыхал их острый запах, напоминающий каждому о лучших минутах жизни. Он чувствовал, что бывшая крепость ушла за эти годы из его тела: запах древесного клея настойчиво звал его побрататься с тополями, взять от них силы и тихого равнодушия ко всему.

Дмитрий Алексеевич наслаждался свободой. У него ничего не было, никакой собственности, кроме чемодана, оставленного в Доме колхозника. Он мог с ходу – решить и поехать, скажем, на пароходе по Оби, к Полярному кругу, или вверх по Иртышу, к озеру Зайсан и там, между небом и зеленой землей, устроиться на работу – вязать плоты или гасить на рассвете бакены, считать утренние облака. Можно было бы и не уезжать. Вот во дворе около домика номер 141 пожилой хозяин залез в кусты смородины и, присев на корточки, обдуманно подстригает сухие ветки. У него все хозяйство в порядке, стволики яблонь побелены известью, рассада высажена, на помидорах надеты бумажные колпачки, в глубине огорода – сарайчик, блестят какие-то стеклянные рамки и все разбито на проспекты и переулки.

Все это были возможности, все это была свобода, а ноги Дмитрия Алексеевича, между тем, шли и шли, постукивая по доскам тротуара. У них был свой, ясный путь – к дому номер 177.

Вот и этот дом. В глубине двора – длинное двухэтажное здание из серого бетона, большие квадратные окна, длинная цветочная клумба от подъезда до ворот. В проходной будке Дмитрия Алексеевича остановил старичок вахтер. Он прервал чаепитие, позвонил кому-то, назвал фамилию «инженера Лопаткина» и после этого выписал разовый пропуск. Дмитрий Алексеевич прошел в дом, в прохладный вестибюль и, привыкая к его полутьме, увидел на стенах плакаты, доску приказов и большую стенгазету под названием «Конструктор». Третью газету занимал отдел «Кому что снится», карикатуры и стихи и в конце был нарисован почтовый ящик.

Дмитрий Алексеевич свернул в левый коридор. Здесь, прямо на полу, были навалены рулоны бумаги, стоял матерый запах аммиака, пробегали озабоченные девушки в черных халатах, а из большой комнаты, освещенной ярким фиолетовым огнем, доносилось через открытую дверь жужжание электрических приборов. Дмитрий Алексеевич понял, что здесь печатают светокопии чертежей и что посторонним тут делать нечего. Он поскорее вернулся в вестибюль и, постояв некоторое время, двинулся на разведку в противоположный коридор. Открыв одну из многочисленных дверей, он увидел большую, светлую комнату, всю уставленную столами. На каждом столе была чертежная доска с желтоватой калькой. За столами сидели молоденькие девушки копировщицы. Все они прервали работу и смотрели на Дмитрия Алексеевича. Пахло чем-то вроде лака для ногтей. В углу тупо стучала швейная машина, на ней подрубали чертежи, а под ногами блестело множество кнопок, вдавленных в пол.

Спокойно оглядев комнату, Дмитрий Алексеевич негромко попросил показать, где находится директор филиала. И тогда пожилая начальница копировщиц вышла к нему и провела по коридору.

– Вот туда, – сказала она, указывая на лестницу и вверх. – Второй этаж и налево. Пожалуйста, молодой человек!

Наверху в коридоре лежала зеленая с красным ковровая дорожка, и Дмитрий Алексеевич, робея, пошел по ней. Знакомое, радостное и сильное чувство мешало ему дышать,

заставило ускорить шаги. Это же было с ним, когда он первый раз получил письмо со штампом министерства. Он внимательно прочитывал таблички с названиями отделов – электропривода, аппаратов, вспомогательного оборудования, – и вдруг остановился перед одной дверью. Таблички на ней не было, но дверь эта была обита коричневой клеенкой, и Дмитрий Алексеевич сразу понял, что это вход к директору. Он спокойно открыл дверь, вошел и подал секретарше письмо заместителя министра. Та схватила письмо и, закусив губу, стала читать, а Дмитрий Алексеевич, удерживая дыхание, с безразличным видом оглядел комнату. Ну да, вот и еще одна дверь, обитая клеенкой, и на ней табличка: «Главный инженер». А где же директор? Ах, вот же, совсем на виду такая же вторая дверь и на ней такая же табличка, только надпись покороче и посolidнее: «Директор».

– Письмо оставьте у меня, – сказала секретарша. – Директора сейчас нет. Придите завтра с утра.

Назавтра, когда Дмитрий Алексеевич появился в приемной, секретарша встала.

– Директор передал ваши бумаги товарищу Урюпину. В отдел основного оборудования. Пойдемте, я вас провожу.

Дмитрий Алексеевич посторонился, пропустил ее. Она пошла впереди по коридору, держа руки по швам. Открылась дверь и за нею – светлый цех, заставленный машинами. Но это были не простые машины, а чертежные доски на особых чугуновых станках, с рычагами, противовесами и рукоятками. На рукоятках висели плащи и макинтоши, а из-за чертежных досок смотрели молодые люди без пиджаков, в льняных косоворотках, в шелковых теннисках. Кое-где виднелись и пожилые, седые конструкторы, в сорочках с галстуками и запонками. И здесь пол также блестел от множества вдавленных в дерево кнопок.

За решетчатой, остекленной перегородкой стоял еще один чугуновый станок с чертежной доской, а дальше – письменный стол. За столом, подняв гибкую бровь, пригнулся и выжидающе замер молодой начальник отдела Урюпин, худощавый, темнолицый, с густой серой шевелюрой, пронизанной блестками ранней седины. Пиджак висел сзади него, на спинке стула. Рукава шелковой сорочки – кофейной в серую полоску – были засучены. Худые, смуглые руки лежали на листе ватмана.

– Товарищ Лопаткин, – сказала ему секретарша. Чуть заметно, интимно улыбнулась и, так же держа руки по швам, вышла.

– Садитесь! – стальным голосом проговорил Урюпин, показывая на стул рукой с громадными черными часами. Потом он поморщился и с силой ударил несколько раз кулаком в перегородку. Прислушался. Морщась, закричал:

– Кирилл Мефодьевич! Араховский!

Появился очень высокий, пристально глядящий только вперед, пожилой конструктор – черноволосый, гладко причесанный и с пробором. На нем была много раз стиранная белесая сорочка с запонками и галстуком. Он сел на стул рядом с Лопаткиным, глядя только вперед, только на начальника. А Дмитрий Алексеевич, сам того не замечая, достал из кармана гайку и стал с силой надевать ее на палец.

– Знакомьтесь, – сказал начальник, широко раскладывая на столе руки. Это товарищ Лопаткин, автор проекта.

– Ах, автор! Очень приятно, – зашипел Араховский, разворачиваясь на стуле к Дмитрию Алексеевичу и показывая беззубые, розовые, старческие десны. С этого момента Дмитрий Алексеевич стал чувствовать на себе его пристальный, то и дело убегающий взгляд.

– Так мы рассматривали это... ваше предложение, – сказал начальник, вдруг повышая тон. – Рассматривали, понимаете! Ничего не можем разобрать! Вы меня извините, я не специалист, для нас это темное дело. Вот, например... – он открыл ящик стола и достал папку с чертежами, милые знакомые чертежи, сделанные когда-то Дмитрием Алексеевичем на ватмане Валентины Павловны... – Вот, например, этот узел – что это?

– Это узел заливочного устройства, – сухо и коротко сказал Дмитрий Алексеевич, вертя в пальцах гайку. – А это дозатор.

– Хм! – сказал Урюпин.

– Простите, – перебил его Араховский и, озабоченно разглядывая запонку на рукаве, зашипел: – Мы еще не завершили знакомства. Меня интересует, какую специальную подготовку имеет автор.

– Вы инженер? Вы литейщик? – живо спросил Урюпин.

– Я окончил физико-математический факультет, – ответил Дмитрий Алексеевич.

Урюпин получил большое удовольствие от этого ответа. Его обтянутое лицо ярко улыбнулось, он оскалился.

– То есть по отношению к данному, конкретному проекту знания ваши имеют несколько общий характер? – прозвенел его торжествующий голос. – У нас время есть, я расскажу вам одну историю – притчу. Я ведь тоже был когда-то изобретателем! Ого-о! Я был бы серьезным конкурентом для вас!

Он умолк, как бы с удовольствием вспоминая свою изобретательскую молодость.

– Я изобрел когда-то ловушку для крота! Я не иронизирую. Нашел я его ход, вырезал кусок дерна и поставил туда обыкновенную мышеловку. Только ниточку протянул: он зацепит ее, тут мышеловка и хлоп! Да, так вот... Закрыл все это дерном, на следующий день прихожу – что за черт! Что за дьявольщина! Нет крота. Я подумал и сделал десять разных ловушек на самых разнообразных принципах. И ни в одну не поймал! И, какая сволочь, каждую ловушку он мне обязательно засыпал землей. Запечатывал с двух сторон! Слушайте дальше, это еще не все. Что же он делает? А он, когда идет по своим коридорам – он чистит их и впереди всегда толкает пробку земли. Земля и попадает в ловушку. А крот тут же все это и закупоривает. Это у него как бы знак апробации. Как эксперт! Ловушку с резинкой он чует по запаху, закупоривает и ее, подлец! Издалека! Что ж, думаете, я отступился? Нет. Я спаял для него вершу из толстой стальной проволоки и острия поставил, знаете, вот так, чтобы крот влез и не мог назад выбраться. И он попался, но... Но! Понимаете? У него сильнейшие лапы, он разломал мою стальную вершу и вышел в бок. И, конечно, запечатал ее! Он мне сказал: ты, дурачок, идешь от бумаги к конструкции. Приобрати сначала опыт, изучи меня, а тогда и изобретай. И я бросил это дело!

Урюпин засмеялся, крикнул несколько раз. Араховский обнажил десны тоже улыбнулся, повесил одну длинную ногу на другую, и Дмитрий Алексеевич увидел его нитяные коричневые носки.

– В общем, непонятно, – сказал Урюпин, быстро перелистав чертежи и отодвигая папку в сторону. – До меня не доходит. Я не хочу сказать, может, идея и остроумна... – При этом Араховский наклонил голову с пробормотом, теребя свою запонку. – Живая мысль! Была бы хоть живая мысль!

– Это что же, моя голова – твои ноги? Так, что ли? – раздался за спиной Лопаткина молодой и очень уверенный голос.

Дмитрий Алексеевич мгновенно обернулся и встретился глазами с насмешливо-ненавидящим взглядом молодого человека лет двадцати трех. Он был в голубой полурукавке с маленьким спортивным значком на груди. Его русые волосы торчали вихрами, как у мальчишки. Сзади него стояли несколько молодых инженеров и смотрели с любопытством на Дмитрия Алексеевича. А этот, вихрастый, повернулся к нему боком и похлопывал себя по мускулам на руке.

Начальник отдела поднял голову, как бы говоря: «Помолчи».

– Да как же, Анатолий Иванович! Я же вижу по затылку, опять автора прислали! – возразил вихрастый инженер со значком. – В план не ставят, а присылают! – он обращался уже

к Дмитрию Алексеевичу. – Вам этого не понять, конечно... вы – предприниматель. Вы организуете это дело... а кто-то будет ищачить. Видите, здесь у нас не авдиевское Конго...

Начальник еще строже поднял голову.

– Когда вы доживете, – не унимался вихрастый парень, – когда доживете до авдиевских седин, – до его ученых, я имею в виду, седин, – может, и у вас будут тогда свои негры...

– Да, кстати, – заметил Урюпин. Он как бы не слышал того, что сказал молодой инженер. – Кстати, вы знакомы с машиной Василия Захаровича? Она ведь уже на испытании. Помоему, она должна работать.

– И моя будет работать! – сказал Дмитрий Алексеевич.

– Влезет она хоть в цех? Вы извините, я всерьез. Не прикидывали, как она в габаритах? И зачем нам две? Вы что же, думаете, ваша будет лучше?

– Вероятно, лучше.

– Каждому изобретателю кажется, что его машина лучше. Но я открыто говорю: не сторонник я этой, вашей...

– Очень жаль, – спокойно сказал Дмитрий Алексеевич, слегка подбрасывая на ладони гайку. – Я надеялся увидеть здесь сторонников. Мне кажется, что некоторые товарищи ж разобрались в сути. Вещь новая...

– Нового мы не боимся, – перебил его Урюпин. – Новое мы подхватываем.

– Да, лучшее, как говорится, враг хорошего! – добавил насмешливо молодой инженер. – Только что-то мы его не видим, – лучшего. Я и про машину Василия Захарыча кое-что слышал...

– Разрешите мне договорить, – Дмитрий Алексеевич, глядя вниз, спрятал гайку в карман. – Вы мне сказали много неприятных слов. А я еще не ответил и, стало быть, в долгу перед вами. Особенно перед вами, – он повернулся к молодому инженеру. – Но я думаю, что вы мне простите этот долг, если я его не отдам. Вы знаете, ведь я по профессии учитель. Никогда не думал, что меня нелегкая дернет дать министерству совет, который не относится к моей компетенции... Я сам жалею, что оторвал ваш отдел. Я все время путаю людям планы. Но сейчас я не могу даже отказаться...

Сказав это, Дмитрий Алексеевич хотел было в доказательство достать бумаги, подписанные заместителем министра Шутиковым, но вовремя сообразил, что Урюпин – из тех маленьких начальников, которые не любят, когда им показывают границы их власти.

– Я хотел бы еще, чтобы мы перешли к делу, – продолжал он сдержанно. Если надо, я дам подробные пояснения. У меня есть с собой модели. Товарищи разберутся. Может быть, даже и сторонники появятся! – он улыбнулся.

– Вы что, имеете приоритет на это дело? – помолчав, отрывисто спросил Урюпин.

– Имею приоритет, – мягко ответил Дмитрий Алексеевич.

Наступила долгая, многозначительная тишина.

– Так чего ж нам время терять? – сказал начальник. – Давайте вы, Кирилл Мефодьевич, займитесь этим делом, прикиньте, что там получится...

Он уперся в стол, как бы собираясь встать, и добавил своим стальным, бодрым голосом:

– Даю вам нашего лучшего механика и математика. Это наша гордость, наш Лагранж...

– Насовсем? – спросил Дмитрий Алексеевич.

– Это зависит от него и от вас.

Высокий, согнутый вперед Араховский молча забрал со стола папку с чертежами и повел Дмитрия Алексеевича между чертежными досками, в дальний угол комнаты. Там у него был маленький столик и станок с чертежной доской. Он сел, надел пенсне, развернул первый лист – общий вид машины и, хищно хмурясь, сопя, стал как бы снюхивать чертеж.

Он долго так сопел над чертежом, потом засмеялся, обнажил розовые десны и бросил на ватман логарифмическую линейку.

– Сколько работал?

– Полгода.

– Я вижу. Все мелочи вычертил. Размеры проставил! А знаешь ты, что ничего этого не надо было делать? Вот этого и этого, и вот этой всей чертовщины. – Он ткнул пальцем в несколько мест чертежа. – В технике приняты так называемые нормали, готовые стандартные детали и целые узлы, из которых мы можем собирать машину. Собирать. Понимаешь? А ты трудишься! Даже резьбу у болтов начертил! Вот ты говоришь, Коля... Слышишь? – Он повысил голос, обращаясь к кому-то на том конце комнаты. – А ведь неплохо учитель машинку завязал!

– Очередная любовь Араховского! – отозвался насмешливый голос вихрастого молодого инженера. – Вертушок какой-нибудь!

– Не вертушок, а настоящая машина! И я на вашем месте, товарищ футболист, ознакомился бы.

Молодой инженер, изгибаясь и виляя между чертежными досками, подошел, навалился на Араховского, и они вместе стали просматривать чертеж.

– Ты эту штуку видел? – Араховский постучал карандашом по чертежу. Ну? Что? А говоришь, живой мысли нет!

– Не понимаю я ни шиша в литейных машинах, – сказал Коля, выпрямляясь и все еще не глядя на Дмитрия Алексеевича. – Вижу только, что редукторов где надо и где не надо наткано. А это уж верный признак...

Он не договорил – вдали раздались три глухих удара в перегородку. Пронзительный голос начальника позвал: «Кирилл Мефодьевич!» И Араховский сразу встал и, глядя только вперед, двинулся, лавируя между чертежными досками.

Вскоре он вернулся. Надел пиджак, бросил в ящик стола карандаши и линейку.

– Придется вам отдохнуть, товарищ... Лопаткин. Еду на завод. Оформляйте пока хозяйственные дела, а встретимся завтра, во второй половине...

Так они занимались с Араховским целую неделю – каждый день по полтора-два часа. К концу этой недели Араховский стал неразговорчивым, и Дмитрий Алексеевич заметил, что он опять прячет глаза.

И наступила минута, когда, просмотрев все свои расчеты, Кирилл Мефодьевич снял пенсне и, глядя в сторону, прошепел:

– Пойдем к Анатолию Ивановичу.

Начальник отдела, как всегда, сидел за столом и словно ждал их, раскинув смуглые плоские руки на ватмане. На нем была шелковая безрукавка цвета старого мяса, с чуть заметными серыми полосками. Его худощавое, загорелое лицо старого физкультурника было перекошено снисходительной и нетерпеливой гримасой.

Араховский молча сел против него на стул. На второй стул сел молчаливый Дмитрий Алексеевич. Урюпин лениво протянул руку и принял от Араховского папку. Постучал ногтем по стеклу огромных часов, поднес их к уху, потом развернул папку и достал чертеж – общий вид.

– Ну, как ваше мнение? – спросил он.

– Получается вроде, – негромко сказал Араховский.

– У вас все получается, – начальник окинул взглядом чертеж. – Ну что же... давайте... возьмите Егора, что ли, Васильевича... Пусть он общий вид прикинет.

– Анатолий Иваныч... Вы что – забыли? Ведь у меня этот, жираф...

– Какой жираф?

– Да мельница эта... Я занят с утра до вечера.

– Ах, верно... Мы уже вылазим из графика... Кому же поручить?.. Вы, товарищ Лопаткин, извините, что так. У нас свои хозяйственные дела. Вот тоже мельница. Ее не планировали, разрабатываем как предложение. Как и ваш проект. Послали один раз – возвращают. Сами же техническое задание неправильно дали! Переделать! А время где?

– Да, – согласился Дмитрий Алексеевич. – Действительно...

– А люди, люди, спрашивается, где? Людей нет! И денег нет!

– Да, – сказал Дмитрий Алексеевич. – Да. Да...

Начальник подумал, потом, играя гибкой бровью, взглянул пристально Дмитрию Алексеевичу прямо в глаза и сказал:

– Придется мне взять вашу машину...

Наступила долгая пауза. Прохладный ветер, пахнувший клеем тополя, врывается в открытое окно и приятно обдувал лица. Араховский, выкатив спину дугой, хмурый, безучастно смотрел только вперед. Дмитрий Алексеевич старался понять, хорошо или плохо, что начальник взялся руководить проектом. А сам Урюпин в это время смотрел ему в лицо твердым взглядом бойца, готового нанести удар.

– Так и постановим! – сказал Урюпин. – Кирилл Мефодьевич, пошлите сейчас ко мне Егора Васильевича и этого, новенького, Максютенко.

Не взглянув на Дмитрия Алексеевича, Араховский ушел с таким видом, будто поссорился со всеми. Лопаткин удивленно посмотрел ему вслед. Почти сейчас же после его ухода появился улыбающийся Максютенко – светлый, щеголеватый блондин в шелковой бледно-сиреневой рубашке, заправленной в синие брюки, пышно оттопыренной и перехваченной у локтей резинками. Он вылез из-за чертежной доски, словно сидел там и ждал своей очереди.

– Товарищ Максютенко, – сурово сказал начальник. – Вот автор – Дмитрий Алексеевич Лопаткин. Вот проект. Вы уже знакомились с ним. Прикиньте общий вид машины. Вопросы решать – ко мне. Я буду курировать это дело. Вот и Егор Васильевич пришел... Егору Васильевичу поручим узлы.

Егор Васильевич – маленький, седой, с брюшком, одетый в синюю сатиновую куртку, мельком взглянул на автора, протянул руку к чертежам. Но тут же отдернул ее, потому что начальник поднял папку и торжественно вручил ее Максютенко.

– Там, там все посмотрите. Максютенко вам покажет. Вы назначаетесь в группу, Егор Васильевич. Все теперь зависит от вас. Проект ответственный, о качестве я, зная вас, не говорю. Но нам нужна еще и быстрота. Я думаю, что она и вам не повредит.

9

В дальнем углу комнаты для группы «центробежников» были поставлены четыре чертежных станка, которые все здесь называли «чертежными комбайнами», и письменный стол. Два молчаливых техника – детализовщики быстро взглянули на Дмитрия Алексеевича, потом друг на друга и отточили карандаши. Егор Васильевич, сопя и хмурясь, откинулся на стуле перед своей доской. Они были готовы приступить к работе. Заработок этих людей зависел от листажа.

А Максютенко принял перед своим «комбайном» вдохновенную позу поставил ногу на высокую перекладину, уперся локтем в колено и вставил в рот пустую, изогнутую трубку. Потому что ему было поручено самое главное. И потому еще, что в отделе был инженер с толстыми косами, уложенными на затылке, и еще один – с пышными, светлыми волосами до плеч.

Так начался первый день основной работы. В этот день было сделано многое, и Дмитрий Алексеевич понял, что его проект был с технической стороны не так уж беспомощен. Через несколько дней он намекнул об этом Максютенко.

– Валерий Осипович, – сказал он, – я вижу, мы совсем не спорим с главным конструктором!

– А чего спорить? – Максютенко снял ногу с переладины, достал резиновый кисет и, набив трубку, взял ее в зубы. – Чего тут с ним спорить? Хорошая машина. Он сам говорил. И Араховский сказал. Чего ж тут?..

– А мне Анатолий Иванович при первом знакомстве...

– Пугал вас? Это всегда так. Это полагается. Надо морально подготовить автора к сотрудничеству, чтобы слушался. И не рыпался, – он хохотнул, передвинул трубку во рту и, достав спички, пошел к выходу. Он часто выходил покурить.

Раза два в день к станку Максютенко подходил начальник и давал указания. При этом он стучал пальцем по доске и громко кричал:

– Убрать, убрать этот болт! Слышите – убрать! Что вы, дорогие товарищи! Сейчас же его уберете, он портит здесь всю обедню!

«Кричи, кричи», – думал Дмитрий Алексеевич. Ему теперь нравилось здесь все – и этот начальственный крик, и вдохновенные позы Максютенко, и молчаливая энергия техников, которые мастерски вычерчивали детали – лист за листом.

На доске Максютенко постепенно проявился контур машины. Неизвестно по каким причинам, но почти каждый день у этой доски останавливался Коля молодой вихрастый инженер со спортивным значком. Иногда приходил сюда и Араховский и молча рассматривал, словно обнюхивал чертежи.

И вот произошло неожиданное столкновение. В начале августа, когда работа над «общим видом» приостановилась и Максютенко, наколов на доску форматку с главным узлом машины, с центральным валом и набив трубку, ушел на крыльцо поразмыслить, в эту самую минуту к станку и подошел начальник отдела. В последнее время он стал уделять машине больше внимания – вызывал Максютенко к себе, за перегородку, а проходя мимо Дмитрия Алексеевича, в шутку задевал его локтем и говорил: «Наш автор». Если же он останавливался у доски, то сам брал в руки карандаш.

Так вот, он подошел к станку, сел на стул, поднял на лбу морщины и, сжав губы, стал смотреть на чертеж. Зажмурился, словно прогоняя видение, и загляделся в окно, барабанив пальцами по колену. Потом пришел Максютенко, удовлетворенный, чмокая красными губами и распространяя горький запах трубочной гари. Начальник что-то сказал, Максютенко пожал плечами. Они оба быстро взглянули на чертеж, и в эту минуту сзади них оста-

новился взъерошенный и прямой Коля, сунул руку в карман, оглянулся на Дмитрия Алексеевича и зло усмехнулся.

– Послушайте, Максютенко... – голос его прозвучал неожиданно и резко, и Максютенко испуганно обернулся. – Зачем вы вновь изобретаете велосипед?

– Какой велосипед?

– А такой! Вы же инженер со стажем! Зачем вы нагромождаете здесь эти два редуктора?

– Как так? – почти в один голос сказали Максютенко и начальник.

– Если редуктор ставить сюда – надо его мощнее делать. И зачем он вам? У нас есть нормальный узел, который Анатолий Иванович уже применял на двух машинах. Ведь применяли, Анатолий Иванович? Так что же здесь думать? Коля уже обращался к Дмитрию Алексеевичу. – Где будет машина стоять? В литейном цехе. В каждой литейке есть сжатый воздух. Стало быть, здесь нужна самая обыкновенная пневматика. Идите в архив – и вам дадут готовый, отработанный узел!

– Ваши слова несколько расходятся с ммм... – начал Урюпин и замолчал, подбирая нужное слово. – Таких два-три решения, подсказанных автору, и количество перейдет в качество. Получится новая идея, потребуется апробация, пойдет переписка...

– А потом автор, если машина не будет работать, нас же обвинит за то, что мы отошли от первоначального проекта, – сказал Максютенко и посмотрел на Урюпина.

– Об этом надо спросить автора, – сказал Коля и пошел к своему месту. Он остановился посередине комнаты и, глядя в сторону, добавил: – Только пневматика – это, товарищи, не идея. Она спасает идею – это да, а редуктор и червяки гробят ее.

Он пошел дальше, исчез за досками, и был слышен только недовольный его басок:

– И вы сами понимаете! Так чего ж тут ждать... На первом же испытании шестеренка эта хрупнет – и все. Тимоха, ты видел, что они там...

Урюпин поднял голову и прислушался, строго оглядывая свой отдел. Ни один человек на него не смотрел, все молчали, наклонились к доскам, напряженно обдумывали свои конструкторские дела. Только за досками, где исчез Коля, все слышался его басок:

– Я уже четвертый день хожу и смотрю... Дай, думаю, посмотрю, чего это они мудрят... И чего мудрят?..

– Дмитрий Алексеевич! – сказал Урюпин, дождавшись, когда Коля умолк, склонив голову набок и изогнув бровь. – А ведь если подумать, дело это заманчивое – пневматика! А? Что вы скажете?

При этих словах Максютенко поставил ногу на перекладину своего «комбайна», уперся локтем в колено и стал сосать пустую трубку. Слабый летний ветерок шевелил блондинистый пух на его плечи. Лопаткин подошел к ним, посмотрел на форматку, где тончайшим пунктиром Егор Васильевич показал соединенные шестерни редуктора. На ясном, усталом лице Дмитрия Алексеевича можно было увидеть все его чувства – простые, не вооруженные холодной осторожностью и не исколотые в поединках. Дмитрий Алексеевич верит своим опытным конструкторам и удивлялся тому, что они обошли такую простую вещь, как пневматика, тем более что, оказывается, существует нормаль – иначе говоря, этот узел разработан и применяется в готовом виде, как водопроводный кран! Он только что понял все это и удивленно посмотрел на Урюпина. И тот сразу же раздвинул все морщинки на своем моложавом лице сидящего физкультурника, – улыбнулся, показав стальные зубы. Он-то мог прочесть все на лице этого педагога. Но и от Дмитрия Алексеевича не укрылась волчья искорка в веселых глазах начальника.

– Я много думал об этом, Дмитрий Алексеевич, – сказал Урюпин, издали с сомнением глядя на чертеж, и даже как будто зевнул. – Можно попробовать. Правда, придется в четырех местах ставить цилиндры. Валерий Осипович, давайте прикинем, как оно там...

И, сказав это, он подошел к станку, подбоченился и карандашом прямо на редукторе провел несколько неуловимо слабых линий.

– Вот примерно так должно быть. Развейте это дело, Валерий Осипович.

Затем он добродушно толкнул Дмитрия Алексеевича – так, мимоходом. Шутя сунул карандаш в карман его кителя и неторопливо стал пробираться к своей перегородке, останавливаясь то у одного станка, то у другого.

Максютенко наколол на доску новый листок ватмана и, набив трубку, ушел на крыльцо поразмыслить. Задумался и Дмитрий Алексеевич. Несколько минут просидел он перед «комбайном» Максютенко, ощупывая пальцами лоб. Подозрительность его вспыхнула, но опасности он не видел. Ему захотелось курить, и, достав кисет, он свернул из газеты с самосадам толстую сигарку. Облизал ее, вышел в коридор, закурил. Белый дым перехватил ему дыхание. Он затянулся еще и еще раз. Потом Дмитрий Алексеевич спустился вниз, вышел на крыльцо и увидел лысую голову Максютенко. Он сидел на ступеньке и что-то чертил карандашом прямо на цементной боковине крыльца. Трубка его хрипела, он был увлечен и не заметил Дмитрия Алексеевича. А тот, постояв немного, подошел поближе и увидел через плечо Максютенко на колючей, серой поверхности круг, нарисованный карандашом, и в нем шесть кружков поменьше. Они были расположены симметрично. Весь чертеж напоминал барабан револьвера.

– Вот она где настоящая лаборатория конструктора! – пошутил Дмитрий Алексеевич.

Он сам не знал, насколько верно попали в точку эти слова, и потому удивился, когда Максютенко, захваченный врасплох, побагровел, накрыл ладонью свой чертеж и стал его размазывать.

– Да бросьте вы! Застеснялся, как красная девица. – Дмитрий Алексеевич присел около него на корточки. – Автору-то вы можете показать!

– Фу... вот же привычку какую заимел! – Максютенко, все еще красный, достал платок и вытер лоб. – Не могу при людях думать. – Он зачертил карандашом свой рисунок и встал. – Не могу, понимаете... Черт знает что!

– А что это у вас?..

– Да вот поршень думаю... для пневматического устройства... это в плане... – он достал свой резиновый кисет, набрал в трубку табаку и, закулив, стал спокойнее.

– Валерий Осипович, – вспомнил вдруг Лопаткин. – А вы ставили бы тот узел, о котором Коля...

– Ну да! Я ж и говорю! А дурная голова что-то свое подает, – Максютенко покосился на темное пятно, втертое в цемент, плюнул и наступил на него ногой. – Так и сделаю. Надо пойти в архив, посмотреть этот узел...

Он передвинул трубку в красных, мокрых губах, утопил палец в пепле и, отставив локоть, ушел, зашаркал в вестибюле. И Дмитрий Алексеевич успокоился. Он увидел, что человек работает над его проектом не за страх, а за совесть – даже увлекся!

Максютенко действительно принес из архива светокпию – чертеж пневматического устройства и стал «прикидывать», то есть рисовать на листках бумаги подвижную часть машины и вписывать в нее цилиндр с поршнем. Дмитрий Алексеевич был около него, и к тому времени, когда день начал желтеть, они вместе успели «прикинуть» два варианта и дали расчетчикам исходные цифры для вычисления нагрузок на поршень и цилиндр.

День этот заметно продвинул дело вперед, и Дмитрий Алексеевич ушел из отдела в хорошем настроении. На улице стояла прекрасная предвечерняя тишина. В синем небе, как белое перышко по водной глади, уже плыл полумесяц. Поднимая пыль, в тишине, по улице двигалось стадо. Щелкал кнут, коровы брели навстречу Дмитрию Алексеевичу по дороге, по деревянным тротуарам, заглядывали в открытые калитки. Чтобы пропустить их, Дмитрию Алексеевичу пришлось сойти с досок. Он прижался к забору, пережидая. Теплый запах

молока, вместе с пылью, наплыл на него, и тут он услышал шепелявящий, добродушный голос Араховского:

– Не уступают дороги изобретателю! А? Как вы на это смотрите?

Дмитрий Алексеевич засмеялся. Араховский, одетый в льняную косоворотку с русской вышивкой, повесив пиджак на одно плечо и держа под мышкой папку, подошел к нему.

– Вот вы смеетесь, гуманный человек, – все так же добродушно сказал он, подбоченясь и окидывая стадо взором философа. – А ведь это не случай, а явление. Если бы вместо вас на тротуаре стоял их сиятельство господин волк, картина была бы другая! Вот в чем беда...

Они замолчали, думая каждый о своем. И когда стадо прошло, двинулись не спеша вдоль улицы.

– Вот так, товарищ изобретатель, – сказал Араховский. – Вы знаете, что вы избрали самую красивую и самую опасную дорожку?

– Я ее почти всю прошел. Я уже два года...

– Прошли? Ну, дорогой...

– Вы не знаете... – перебил его Дмитрий Алексеевич.

– Я все знаю. Послушайте, что вам говорят. Послушайте, опыта у вас не убавится! Так вот, верьте мне или нет – ваше дело. Но вы не прошли и десятой части того, что для вас заготовила фортуна. Если хотите – я помогу вам сделать один шаг вперед. Если вы, конечно, хотите...

– Ну, конечно же, хочу!

– Ах, хотите? Ну так слушайте. Вы ничего не смыслите в проектном деле. Вы не знаете деталей машин. Вам неведом язык чертежей. Не смейтесь, а слушайте, что вам говорят! Того, что вы знаете, достаточно для оформления идеи. Чтобы создать проект, этих знаний уже мало. А для того, чтобы работать с Урюпиным, эти ваши знания – ничего. Вам, дяденька, уже заехали оглоблей в рот, а вы улыбнулись и сказали спасибо. Хорошо, что Колька вас спас! Потому что человек он молодой и сперва говорит, а потом уж думает. Я тоже хочу спасти вас – только солиднее, капитально. Для начала я вручу вам три книжечки страниц по триста, заставлю вас их подзубрить и приму экзамен. Когда вы освоите эти книги, вы сможете увидеть кое-какие палки, которые вам суют в колеса. Будет меньше поломок в пути.

– Кирилл Мефодьевич, я вас заранее благодарю...

– Нечего благодарить. Завтра у нас воскресенье? Приходите завтра вечером ко мне... – Араховский остановился и подал Дмитрию Алексеевичу руку.

– Простите, а где вы живете?

– Живу я в домике, против которого мы стоим.

И Дмитрий Алексеевич увидел знакомый домик 141. Он был теперь весь затянут ползучей зеленью. Сарайчика уже не было видно. Яркая зелень кипела в огороде, желтые светила подсолнухов глядели в одну сторону – туда, где опустилось за дома солнце. Кусты смородины были обсыпаны зелеными и коричневыми ягодами, а на низеньких, растущих в стороны деревцах висели бледные яблочки. В глубине, между березами, белел гамак.

– Я видел вас здесь! – сказал Дмитрий Алексеевич. – В первый день, когда приехал.

– Возможно. Я здесь каждый день копаюсь. Это мой, так сказать, сад Эпикура. Видите вон гамак? Там есть еще столик, – Араховский засмеялся и поднял вверх палец. – Прошу завтра в семь.

На следующий день, когда вечеряющие улицы затихли, Дмитрий Алексеевич потянул за проволочное кольцо у высокой решетчатой калитки дома номер 141. Потянул – и в глубине двора раздались угасающие удары в медную певучую посудину. С мирным лаем подбежал к ограде высокой красно-шоколадный сеттер и завил хвостом. Медлительная, пожилая женщина открыла калитку и пропустила Дмитрия Алексеевича. Кирилл Мефодьевич был в огороде – раскинув руки, полулежал в гамаке. Косоворотка его была расстегнута, он был

здесь другим человеком – гордым и гостеприимным хозяином, смотрел героем и не отводил глаз в сторону. На столике, около гамака, лежала вверх обложкой раскрытая книга. «Нью-тон. Математические основы натуральной философии», прочитал Дмитрий Алексеевич и проникся глубоким уважением к хозяину книги.

– Садитесь в гамак, места хватит, – сказал Араховский. – Марья Николаевна! – крикнул он, оборачиваясь.

– Знаю, знаю! – донеслось из дома.

Лопаткин опустил в гамак и почувствовал, что рядом с ним сидит мускулистый и тяжеловесный человек.

– Кирилл Мефодьевич, сколько вам лет? – спросил он.

– Давайте торговаться. Сколько вы дадите?

– Лет сорок восемь?

– Эх, куда хватил! – Араховский захохотал, обнажив десны. – Хватай выше. Шестьдесят, не хотите?

– Не может этого быть!

– А между тем есть. Это все, знаете, отчего? – он засмеялся. – Оттого, что изобретательством не занимаюсь! – протрубил он на ухо Дмитрию Алексеевичу.

– Не-ет! Какой же я изобретатель? Ваша шпилька здесь не подходит, Кирилл Мефодьевич!

– Не подходит, говорите? – Араховский нетерпеливо оглянулся на дом, но Марья Николаевна уже несла поднос с графином и тарелками.

– Несу, несу, – сказала она и поставила поднос на столик.

– Давайте-ка выпьем, Дмитрий, как вас по батюшке, – Алексеевич. Между прочим, хорошее русское имя. – Говоря это, Араховский налил в рюмки из графина. – Вам повезло. Настоящая разливная. Вчера талон получил. Так, давайте за знакомство...

Выпив рюмку, Араховский приумолк, веки, его покраснели, он подцепил вилкой ломтик огурца и начал ловко его жевать одной половиной рта.

– Так, говоришь, не изобретатель? А какого ж черта я привел вас? Не-ет. Изобретатель – каждый человек, который в своей области создает новое. Изобретатели могут быть везде. И в технике и в науке. И вы не скромничайте, вы – самый настоящий изобретатель.

Он сказал последние слова с особенным весом и посмотрел прямо в глаза Дмитрию Алексеевичу.

– Так вот: вы избрали тяжелую дорожку. Техника – король. За королем идет свита: хранители знаний, передатчики, популяризаторы. Большинство профессоров, которые учат нас, а сами ничего не создают. Около них вы найдете и изобретателя. Только он идет не в парадных одеждах. Ему перепадает пинки. И вы, Дмитрий Алексеевич, раз вы лезете в эту свиту приготовьтесь к хорошим пинкам. Я вижу вашу судьбу у вас на лице. Идея ваша очень важна, а судьба – печальна. И вы поймете это, когда проштудируете все, что я вам дам.

Араховский налил водки в рюмку и выпил не чокаясь. Выпил, горько засмеялся и покачал головой.

– Да, был и я автором. И у меня есть это... голубенькое, с лентой и печатью. Вид на изобретение!

– Что же вы изобрели, если не тайна?

– Изобрел, Дмитрий Алексеевич. Даже сам сначала не поверил. Машина для проходки горных выработок в скале. В скале, понял? У меня и модель действующая была. Я ставил ее перед кирпичной стеной, и она прямо на глазах у почтенной публики проходила ее насквозь.

– Ну и что?

– Есть такие стены, товарищ изобретатель, которые никакой машиной не возьмешь. – Араховский опять налил в рюмку, выпил и стал шевелить ломтик огурца в беззубом рту. – Со

мной, Дмитрий Алексеевич, говорили открыто: иди в кассу, получи и отойди в сторону. Я не отошел, и мне вежливо переломили хребет. И вы еще услышите открытую речь. Грамотную, гладкую, вежливую, открытую речь.

– Я все это знаю...

– Всего вы не можете знать...

– Ну, догадываюсь Иду на это.

– Что же вы думаете сделать? Ну-ка, ну-ка... Как вы намереваетесь победить капитализм в сердце Урюпина?..

– Как-нибудь победим. Народ-то существует или нет?

– Что такое народ? Народ – это я и вы, и мы все. Одного врага мы с вами видим. Потому что близко прикоснулись. А других, в прочих областях – мы не видим. Там все профессора для нас с вами – архангелы и пророки.

– А зачем в чужие области вникать? Будем ориентироваться на наших... Раз существую я – значит есть еще люди, такие же, как я. Вот, например, Коля. Да и вы...

– А кто тебе сказал, что я такой, как ты? Может, я – волк? Возьму сейчас тебя и съем!

– Видали мы таких волков! – Дмитрий Алексеевич улыбнулся.

Но Араховский поднял палец.

– Вы говорите красивые слова, но все это – гарольдов плащ. В жизни все суровее и прямее. Пойдите в наше министерство, в отдел изобретений, или в НИИЦентролит к вашему Авдиеву, и там вы найдете на полках подтверждение тому, что я говорю. Десятки, сотни гробиков – и все ваша братия, изобретатели. Девяносто пять процентов – макулатура, пустая порода, ей и место в гробу. Но пять – настоящий радий, и он там будет лежать, пока не протрубит архангел. Свита ее величества науки – они спецы хоронить.

– А кто же все-таки вы? – спросил Дмитрий Алексеевич.

– Я – старый енотишко. Побежденный. Когда-то и я, как вы, выбегал из норы, лез в самую гущу. А сейчас я – енот-калека. Меня спасает только защитная окраска. По принципу «открой глазки, закрой ротик». Ротик закрою и сижу в углу, подальше, хе-хе, от драки! – Он умолк, с минуту сидел, вздыхая, покачивая головой. – Нет, – сказал он вдруг. – Я, конечно, другой. Потому что я не устаю верить. Увидел вас – и надежда затеплилась. И Колька – другой. Правда, еще желторотый, но Урюпин его уже боится. Вот был у нас начальником один светлый человек. Убрали. А сюда – волчка серенького...

– Урюпина?

– Да. Вы его еще не знаете. Это во-олк! Люпус! Назначили – и надежда моя погасла. Увидел вас – опять надеюсь. Дмитрий Алексеевич! Помните, как Брюсов сказал: «Унесем зажженные светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры», – он не прав! Когда они зажгутся, мы уже не можем их уносить! Вот скажите – что делать с ними, с зажженными светлыми? Я уже гашу мысли, нашел способ: изобретаю для спиннинга блесну, не задевающую за коряги. Я ведь рыболов. Или по садовому делу придумываю какую-нибудь мелочь. Замечательно! С тем же огнем! Увлечусь – время и проходит. Вы понимаете, какая беда! Мыслитель не может мыслить!

– Так вот что, Кирилл Мефодьевич, – сказал Лопаткин и положил кулак на столик. – Я вам протяну еще руку. Поняли? Живите и надейтесь...

– Какой же ты идеалист, как я погляжу! – Араховский с грустной, усталой улыбкой стал смотреть вдаль, в сумерки. – Ах, какой идеалист! – Он покачал головой.

– Кирилл Мефодьевич, я вам клянусь, что так будет!

– Клянись, клянись. Спасибо и на том. А пока, раз ты такой, буду помогать тебе я. Хочу тебе заповедать несколько тезисов. Как-нибудь придеешь...

– Кирилл Мефодьевич! Давайте с вами выпьем за зажженные светлы!

– Это как же понимать?

– А так – за то, что их нельзя ни унести в пустыни и пещеры, ни погасить. За то, что они живучие. Чтоб продолжали гореть. Людям на радость...

– А кому-то и на муку! Бог с тобой, давай выпьем.

Араховский выпил, крикнул и, нюхая хлебную корочку, лукаво посмотрел на Лопаткина.

– Тост идеалистов надо бы занюхивать не хлебом, а хлебной карточкой... Хе-хе, для служащих!

10

Араховский дал Дмитрию Алексеевичу три книги: «Применение гидравлики и пневматики в машиностроении», «Расчеты в машиностроении», «Детали машин». Дмитрий Алексеевич вспомнил свои студенческие привычки и засел за книги так, как будто готовился к экзаменационной сессии. Через две недели, когда Максютенко справился с пневматическим устройством и отдал его детализовщикам, а сам, приготовив большой лист, стал начисто вычерчивать общий вид, Дмитрий Алексеевич подошел к нему и сказал".

– Валерий Осипович, я просмотрел ваше решение и не могу признать его удовлетворительным.

– Какое решение? – мгновенно обернулся Максютенко.

– Вот это, пневматическое устройство. У вас здесь четыре цилиндра – это сложно. Можно два сделать, я вот дома сегодня набросал.

– Где же вы раньше были? Вы были здесь!

– Я читал книгу. Прочитал, и мне стало ясно. А раньше я не знал некоторых вещей. Но вы, как конструктор, должны согласиться...

– Не знаю... – Максютенко уставился пустыми глазами в окно, медленно розовея. Потом вдруг сорвался и пошел, заюлил между станками к Урюпину.

Вскоре за перегородкой раздался стальной голос начальника: «Что такое? Какая пневматика? Какие цилиндры? Почему два? Какие книги?»

Они вышли вдвоем, Урюпин – впереди. Пробираясь между станками, он задел несколько досок и не оглянулся. Он подошел, надвинулся на Дмитрия Алексеевича, как бы требуя ответа за обиду.

– Что тут у вас? – спросил он, с широким жестом оборачиваясь к Максютенко.

– Это я все намутил, – сказал Дмитрий Алексеевич. – Это моя работа.

Он словно не заметил раздражения Урюпина, подвинул ему стул, сел и сам и развернул свой листок.

– Мне кажется, что Валерий Осипович усложнил конструкцию, поставил два лишних цилиндра. Дело в том, что и эти два будут работать вполсилы, если мы уравновесим оба плеча...

– Но това-арищ автор! – заныл раздраженно, хоть и сдержанно Урюпин, Дмитрий Алексеевич! Это мы до морковкина заговенья будем прикидывать да менять? Кто же нам за это будет платить?

Наступило молчание.

– Оставить в таком виде, – коротко приказал Урюпин и встал, чтобы быстро и эффектно уйти.

– Я не подпишу проект, – тихо сказал ему вслед Дмитрий Алексеевич.

– Но поймите же, поймите! – раздраженно закричал Урюпин, оборачиваясь. Он наклонился и застучал сухой прямой ладонью по чертежу, приколотому к доске Егора Васильевича, и все остро отточенные карандаши старичка посыпались и запрыгали на полу. – Поймите! – кричал начальник, стуча ладонью. – Это деньги, это время, это план!

– Это относится прежде всего к вам и к Валерию Осиповичу, – сказал Лопаткин, глядя на него холодными глазами. – Вопрос бесспорен. Если он ясен даже мне, то для вас он должен быть элементарно ясным. Я не возражаю, давайте позовем третейского судью, и если он докажет мне, что решение мое гениально и лежит за пределами способностей и знаний рядового конструктора, – я сниму его.

Это был голос нового человека, и Урюпин умолк. Притих и Максютенко, а техники-деталировщики подняли головы и взглянули на Дмитрия Алексеевича и потом друг на друга.

– Конфликт! – сказал вихрастый Коля, пробираясь к ним, и с насмешливой улыбкой посмотрел в угол Араховского. – Что тут такое?

– Правильное решение? – Дмитрий Алексеевич подал ему свой листок.

Коля взглянул на чертеж, положил его на стол и налег на него локтями.

– Решение правильное и, мне кажется, наилучшее, – сказал он, зло щурясь и глядя то на Лопаткина, то на Урюпина.

– А это что? – спросил Дмитрий Алексеевич и развернул перед ним черновой набросок Максютенко.

– Это? Это вы сделали? – спросил Коля, глядя на Максютенко.

– Что это такое? – повторил Дмитрий Алексеевич.

– Это – халтура.

– Николай, у тебя выражения... – сказал Урюпин, досадливо морщась. – Мы с тобой не на волейбольной площадке.

– Тогда я скажу по-другому: мяч налево. Переиграть, товарищи, надо. Переиграть! – И смеясь Коля ушел к себе и там еще раз пропел нежным тенором: – Переигра-а-ать!

И узлы пришлось «переигрывать». В сентябре Дмитрий Алексеевич обнаружил еще два неуклюжих узла и один грубейший математический просчет, в связи с чем опять пришлось переделывать весь проект.

Но все же наступил день, когда проект – сто шестьдесят листов, тысяча четыреста деталей, двенадцать тысяч размеров – был подан автору на подпись, и Дмитрий Алексеевич, недоверчиво пересмотрев все листы, надписал на каждом свою фамилию. После этого листы пошли в копировальный отдел – на первый этаж. Оттуда через несколько дней Дмитрию Алексеевичу принесли на подпись прозрачные, подрубленные на швейной машинке кальки. Он подписал, и кальки ушли опять вниз – в отдел светокопий, туда, где был дрожащий фиолетовый свет и пахло аммиаком.

Уже несколько раз выпадал снег, на улице стояла сырая стужа, на деревянных тротуарах налипла и уже начала твердеть грязь, был уже последний серый день октября, когда Дмитрий Алексеевич получил наконец свой проект – уложенный в папку, ясно отпечатанный авторский экземпляр. Урюпин с силой пожал ему руку и сам встряхнулся при этом. Подал ему и Максютенко свою тяжелую и словно увядшую лапу. Потом подошли оба техника и Егор Васильевич. Быстренько пожали автору руку, отошли и, тихо переговариваясь, стали собираться домой, потому что рабочий день окончился.

– Теперь увидимся в Москве, – сказал бодрым голосом Урюпин. – Я и на вас заготовил командировку.

Дмитрий Алексеевич поблагодарил, поклонился всем и вышел. Он незаметно для себя пролетел всю Шестую сибирскую улицу и только в конце ее вдруг спохватился: не взял свой экземпляр проекта! «Тьфу!» – в сердцах махнув рукой, он повернул назад. Уже было темно. Он торопился – как бы не заперли отдел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.